

Левин

Насский

С. 712. II-A

29714.

ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ

г.

1814

СЕРТИФИКАТЪ

СТАРАГО

ПЕРБЛАНД

3 р. 10 к.

Смлад изданий:
„Сектор художественной литературы“
Книжоторогово об'єднання Гос. Изд-в
Москва, Центр, Никольская, Б. Черкасский, 2
№ 402

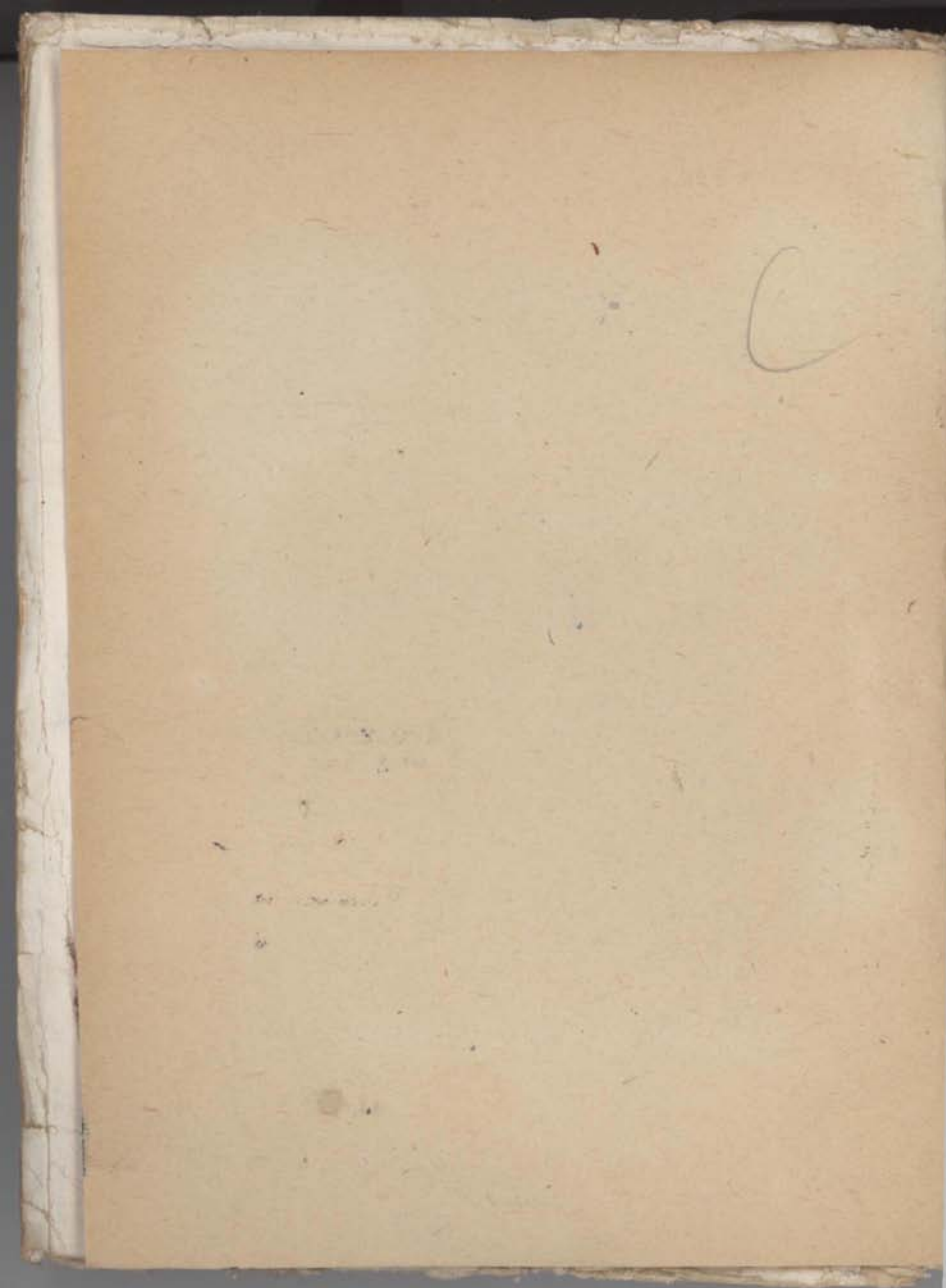
V.N. Karazin Kharkiv National University



00786299

PK-1





С-712-17.9.
Сергей Спасский

2-й этаж

95

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
10/189

ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1945

~~26786~~
198/134

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Инв. № 29714

изд-во
писателей
6 Ленинград

Проверено
ЦНБ 1938

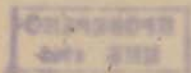
Проверено
ЦНБ 1938

58

78

№ 402.

Отпечатано для издательства писателей
в Ленинграде в количестве 10500 экзempl.
16¹/₄ п. л. типографией Ленпромиздательского
„Печатил“, Прачешный пер., б. Зак. № 3732.
Ленгорт. № 29416. Обложка Якубовой-
Муцу. Сдано в набор 14/VIII 1933 г. Под-
писано к печати 15/XII 1933 г. Формат
72 × 110. Порядковый № 118. Типографских
знаков в п. л. 32000. Ответствен редактор
К. Федин. Технич. редактор Д. Бабкин.
1933



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Во второй половине августа, утром, Кусков проснулся внутри маленького деревянного домика. Домик служил туристской базой в районе Ломжинской бумажной фабрики. Поздний поезд вчера сбросил Кускова сюда. В комнате был он один.

Прямо перед глазами Кускова находилось большое окно с недавно мытыми тонкими стеклами. Стекла были сини от неба. Воздух комнаты чуть синеват. По небу бродила светлая, солнцем пропитанная ветка березы с лоскутками дрожащих листьев. И окно, и эта трепещущая, укрепленная сиянием ветка были нарядны и праздничны. Кусков загляделся на них.

И тотчас ему стало хмуро. Он решил, что надо вставать, начинать не сулящий ему ничего доброго день. Предстояло отправиться на фабрику, о которой он не знал ничего. Предстояло встретить людей, о которых он знал слишком много. Кусков закинул руки за голову.

Ветка продела в стекло. Листья крутились, заворачиваясь то лицевой, то тыловой стороной. И оттого, что виднелась только эта, неизвестно откуда пришедшая ветка, казалось—комната приподнята над землей и ползет по вершинам деревьев.

Кускову стало тревожно. Раздался паровозный свисток. Кусков вскочил одеваться. Ветка березы соеди-

нилась с прочным, поскрипывающим от ветра пятнистым стволом. Эхо свистка катилось по плоскому озеру. Сосны на противоположном берегу, казалось, росли из самой воды. Прихватив полотенце и мыло, Кусков вышел из домика.

Когда он спустился к блесневшей от солнца воде, в этом месте переходившей из озера в неширокий, прямой канал, зеленые жилища вагонов, сдвигающиеся через железный мостик, еще попались ему на глаза. Если б во-время он порешил не иметь дело с Ломжей, выбраться назад, не пытаясь ничего изменить, ему следовало бы воспользоваться одним из этих вагонов. Он опоздал. И во всяком случае, один день здесь ему надо прожить.

2

Ломжинская фабрика расположена в достаточной близости к озеру. Вернее, два озера ограничивают ее раскинутые на два километра владения. Озера размещены на неодинаковом уровне. От маленького, того, что вставлено в землю повыше, к нижнему, огромному, подступающему к Ломже узким белесым заливом, пробит прямой, как серебряная линейка, канал. По каналу тихо смещается глубокая, насыщенная отражениями толща светлой воды. Ее движение почти неуловимо наглаз, и отражения в ней, чуть колеблясь, покоятся. Вода заключает в себе прямые полосы телеграфных столбов, решетчатые сосновые рощи, белые обозы облаков. Пройдясь по проспекту канала, вода сваливается вниз под откос, со свистом проносится сквозь турбину маленькой гидростанции. Отсюда ее давление, превращенное в электрическую энергию, по проводам льется на фабрику и разносится по поселку в стеклянных сосудах электрических ламп.

Утро было просторным и чистым. Оно не тревожило зрение излишней пышностью красок. Но словно

проясняло предметы, придавал им прозрачность и легкость. Деревянные строения поселка казались вырезанными из желтого стекла. Очертания соснового леса там, на куполе каменистой горы, парили чутко и стройно. По степени видимости этой горы точно определялась погода. В сырые, потухшие дни гора удалялась от окон. Сегодня стояла она рядом с конторой, словно переселилась значительно ближе отведенного ей природой участка.

В конторе фабрики свыклись с горой. Ее перемещениям не уделялось внимания. Контора жила крохоборческой (так выглядело со стороны), кропотливой, мелко простеганной жизнью. Люди, попадавшие внутрь двухэтажного деревянного дома через визжащую дверь, проходившие сумеречным, пропахшим теплой сосной и пылью коридором, взбиравшиеся по говорливым ступенькам в такой же прямой коридор, также рассеченный дверями, не обдумывали и не рассматривали оборудование помещения. Люди входили в комнатки, хотя и озаглавленные разное, но с безродной одинаковой мебелью, со столами, шкафами и стульями, лишенными особенностей и прикрас, подгоняли свои тела к их нехитрому устройству и прикасались к работе. Донесенные из жилищ, захваченные по пути мысли, неразбавленные остатки ночи постепенно оставляли сидящих. Покинутая вчера работа — то есть бумаги, конторские папки и книги — выносились наружу из ящиков. И вместе с видимой частью работы, воплощенной в изрисованных буквами и цифрами бумажных листах, в комнатах пробуждались вчерашние беспокойства и хлопоты. Люди погружались в работу, будто в воду, и каждый при этом проявлял свой характер. Кто потягивался и хмурился, кто раскачивался и напевал. Секретарь фабкома, молодой партиец Егоров, присаживался и тотчас же приподнимался. Он должен был обскатать коридоры, вернуться и снова исчезнуть. То взволнованный, то улыбающийся, он топал по лестнице, расшибая ступеньки,

здоровался, сперил, расталкивал встречающих, наконец вносился решительно в комнату и с размаху садился на стул, как на мель.

Контора действовала в однообразном спокойствии (так казалось со стороны). Уже то, что все преимущественно сидят и, главным образом, пишут, не отводя лиц от бумаги, представляло умиротворенное зрелище. Почва здесь не благоприятна для выращивания перемен и страстей. Так выглядело со стороны. И это, конечно, неверно.

Перемены поступали с фабрики, работавшей перебойно и трудно. Оттуда вторгались сводки суточной продукции, часто свидетельствующие о недовыработке. Там вспыхивали аварии. Их нужно спешно гасить. И тогда по конторе вращались расследования, объяснения, предложения, чтоб, пробежав по столам, укрепившись печатями и подписями, спешно отхлынуть в Москву.

В данные дни новости расселялись по столам, сосредоточенные в газетном листке. Листок был с четвертушку бумаги. Оттиснутый на ручном печатном станке, он, казалось, не вмещал ничего примечательного. Колонки суточной сводки, узкая ленточка передовой, несколько беглых заметок. Газетка проглядывалась в полминуты, однако, над нею задумывались.

Дело в том, что само появление листка выглядело незаурядной новостью. До сих пор Ломжинская фабрика не производила печатного слова. Иногда уделяла ей строчку центральная пресса. Очертания фабрики проступали в специальных журналах. И однажды на меловой странице дорогого периодического издания теневой, коричневой и величественной графией разлегся один из главных цехов. Там он был прекрасен и чист, как торжественный храм неизвестного культа, с широкими и многовальными жертвенниками машин.

И только теперь проживавшая в Ломже бригада, прихватив из центра наборщика, ежедневно украшала

столы конторы разделенным на три колонки, тесно набранном общественным мнением.

Нынешний номер газеты был придавлен жирною шапкой: „Усилим соревнование и ударничество. Требуем от инженерно-технического персонала максимального участия в ликвидации прорыва“.

— Мотя, читал? — вторгся Егоров в коллектив комсомола.

Секретарь коллектива Матвей, узколицый, в мелких веснушках, молча потянулся к листку и прилежно его рассмотрел.

— Усилим, усилим, — сказал он про себя. — Каждый день — все усилим. А как усилить, об этом нет разговора.

— А мы с Короленко условились, — вспомнил Егоров. — Он с тобой и со мной хотел говорить насчет сменно-встречного плана.

3

Один из членов бригады, Зеленский, пробудился в это утро стремительно. В одном белье засновал он по комнате. Узенький номер гостиницы ограничивал его движения. Он попадал на ходу в брюки, рубашку и пиджак, вспомнил, что не занялся гимнастикой, махнул рукой и подскочил к подоконнику. Он хотел открыть форточку, но остановился, сообразив, что давно должен быть в редакции. Но это не заставило его выйти из комнаты. Он вдруг погрузился в раздумье.

Усилия не давали эффекта, хотя извне никто не препятствовал. Всякий раз получалось, будто Зеленский, готовясь поднять пудовый камень, схватывает бумажный кулек. И стоит со своей легковесной добычей, пытаясь скрыть, что попался впросак.

Ему было лет тридцать пять.

Первые дни он налаживал здесь типографию. Затем выполняя задания бригадира, товарища Баха, он присматривался к производству. Рабочие снабжали его

пояснениями, хотя и не слишком охотно. Все заняты, все изрядно привыкли к бригадам. И поглядывали вопросительно. Зачем, собственно, он появился? Один из рабочих, пожилой и настойчивый, все тащил Зеленского за трехэтажную стену бумажной машины и толковал о перегревающихся осях. Зеленский взбирался на металлический тоненький мостик, мелко и напряженно дрожащий, словно рысью выскальзывающий из-под ног. Круглые многосвечные лампы обмывали лучами оси цилиндров. Слова рабочего начисто исчезали в многопудовом гудении. Выбравшись в сравнительно тихую зону, Зеленский наконец разобрал, что рабочий ходатайствует о прибавке. Зеленский почувствовал, что готов затонуть в мелочах.

В дверь постучали.

— Войдите! — повернулся Зеленский.

Гость оказался заведующим отделом технического контроля Садовниковым. Зеленский сморщился. Гость пришел не ко времени.

Лицо Садовникова напоминало античную маску. Чинная седина украшала венцом его череп. Зеленский покосился на неприбранную кровать. Садовников поместился на стуле. Он поставил между коленями палку, повесил на нее капитанскую фуражку с полотняным белым верхом. Он поймал недовольство Зеленского и принял сочувствующий вид.

— Да. Еще не устроено в Ломже. Грязновато. Трудно работать.

Зеленский протирал пенсне, и обнаженные от стекла глаза беспомощно и сердито моргали.

— Сколько времени я здесь и все мне твердят — трудно работать. У нас с Бахом на этот счет особое мнение. Работать можно везде.

Пенсне село на переносицу, сразу став неотъемлемой частью лица.

— Но все же у нас особые условия, — возразил осторожно Садовников.

— В каждом районе особые условия. Они должны подчиняться общему плану. Иначе пойдет чепуха. Что ж, прикажете фабрику в другой район перенести?

— Фабрику перенести трудно, — улыбнулся Садовников. — Дело в людях, не в фабрике.

Зеленский потянулся к столу за портфелем. Пошарил в его кожаном слоистом вместилище. Щелкнул звонко застёжкой. Целью всех его жестов было выпроводить собеседника.

— Да, — протянул в нос Садовников. — К массам нужно быть ближе.

Зеленский поднялся со стула. Садовников его раздражал.

— Я ведь здесь с пуска фабрики, — произнес тот чрезвычайно доверчиво. — Каждого рабочего знаю. Отличный народ. Их доверие нужно уметь заработать.

„Болтун, — подумал Зеленский. — Выгнать его к чертовой матери“.

— И тогда они двинут работу, — Садовников заторопился, не давая Зеленскому слова. — А разве у нас есть товарищеская обстановка? Вы же чувствуете, какая здесь атмосфера. Вы же понимаете, о чем я говорю?

Зеленский ничего не ответил.

— Спертый воздух. Окошко надо открыть, — взмахнул фуражкой Садовников.

Зеленскому показалось, что Садовников имеет в виду его комнату.

— Я имел в виду, разумеется, фабрику, — как бы ответил тот на мысли Зеленского. — Я никого не виню. Я стараюсь спокойно смотреть. Обвинить всегда можно успеть. Виноват ли, например, Васнецов, что его послали сюда? На ответственную работу. Он еще слишком молод.

— Васнецов провел три года в Барановке, — задышал недовольно Зеленский. — Вам это отлично известно. Совершенно достаточный срок понять, что требует от него государство. Это все местная семейственность.

Вечные разговоры — дайте Васнецову оглядеться. Мы не можем нянчиться с одним человеком.

— Ваше дело.

— Нет, не мое, а общее! Дело всех.

Зеленский бросил портфель и он кожаной лужей застыл на клеенке стола.

— Вам виднее, — буркнул насупясь Садовников. — А мне кажется, надо помочь Васнецову. На Барановке ему не сумели помочь. Там его просто травили.

— Чепуха! Какая там травля?

— Я вам говорю. У меня там знакомые. Травили в местных газетах. За несдержанность, за пренебрежение к общественности. Да, если вам угодно, — вот вы все горячитесь, — пожалуйста, у меня газета с собой. Можете сами взглянуть.

Садовников вынул изношенный, много раз перегнутый газетный листок.

— Ну? — спросил тихо Зеленский.

— Ознакомьтесь. Могу вам оставить. Увидите, я был прав, что надо Васнецову помочь. Впрочем, что я разговаривался. Я ведь по делу пришел.

И Садовников легко погрузился в новую отдельную тему.

В качестве заведующего фабричной лабораторией, Садовников обладал ценнейшим импортным прибором. Пользуясь им, можно наглядно определять состав древесной и целлулозной массы, из которой образуется бумага. Между тем, для практических производственных целей прибор является роскошью. Он пылится в запасе. Его иногда извлекают похвастаться перед туристами. По мнению Садовникова, несравненно целесообразнее передать прибор в центр для целей исследовательских. Собственно, Садовников за свой риск уже снесся и получил благодарность. Но хорошо бы (это важно для всей бригады, а в первую очередь важно для общего дела), если б бригада до окончательного распоряжения центра проявила инициативу и сама

настояла на спешной отправке прибора. Садовников говорил убедительно.

— Хорошо. Я сегодня займусь. Я проверю, — отметил в блокноте Зеленский.

— Вот спасибо, большое спасибо, — встал Садовников и потряс хозяину руку.

Они стояли друг против друга. Садовников выше Зеленского. Садовников обнимал его взглядом, разглядывая слегка поощрительно, и еще раз кивнул головой.

Многokrатно перегну́тый лист остался лежать на столе.

4

Зеленский сошел на мостки. Наконец, он наспех умылся. Позавтракать он не успел. Наконец, он выкабалкался из гостиницы.

Мостки разворачивались под ногами, как сухая серая лента. Искусственная гулая тропинка. Мостки были единственным тротуаром поселка, вернее его единственной улицей. Отклоняясь то вправо, то влево, мостки указывали направление ломжинской жизни. Они устремлялись к фабрике, к магнитному полюсу Ломжи. По сторонам мостков волновалась неприрученная почва. Она тешилась, выдувая холмы, притихала болотными впадинами, выкатывала пористые мячи валунов. Ей представлялось еще, что она живет в одиночестве, и некому вмешиваться в ее поступки. Но деревянная упряжь мостков и разложенные в беспорядке бараки были первым непрочным признаком предстоящих ей осложнений.

Зеленский бежал по пружинившим доскам, как по длинным узким качелям. Лицо его сморщилось от напряжения. Козырек кепки прокалывал воздух, как клюв.

Он не смотрел на мостки и отталкивался от них механически. Его внимание не занялось ни вынесенным наперерез футляром фабричного здания, ни серебристой

полосой озера, блестящего на солнце, как березовая кора; он помнил, что опоздал в редакцию, и мчался, будто настигая уходящий трамвай с тем, чтоб схватиться за отодвигающиеся с грохотом поручни. Он был из людей, всегда воюющих с временем, всегда несогласных с расписанием часов.

Сроки большие и малые, будь то выход из дому, попадание на собрание или наступление зимы — застигали его врасплох. Время словно наваливалось из засады и мяло Зеленского в лапах.

Впрочем, сегодня ему казалось, что Бах не будет в претензии. Правда, трезво смотря, открытие не велико. Хотя статья была резковата и называлась „Грибочки“.

Украшал ее искусный рисунок — Васнецов стоит на коленях и шарит руками в траве. Дело тут не в содержании, хотя и оно не похвально. Васнецовская смена в Барановке выходит на первое место. Один из видов награды — экскурсия на моторной лодки в типографию, в город. То ли выпили по дороге, то ли впали в веселье от солнца и производственных чувств. Но, пристав к берегу, перепутали адреса. Типографию сочли почему-то лежащей в отдаленном районе (что действительности не соответствовало), но зато набрали на пивную. Возвратившись в Барановку, Васнецов был очень доволен. Для развернутого счастья нехватало соленых грибков. Их-то он, как указано на чертеже, принялся разыскивать в травке.

Заметка была шустрой и едкой. В качестве журналиста, Зеленский мог ее оценить. Но главное не в основном содержании. Из скользящих, якобы безобидных, якобы шутивно касающихся и отскакивающих обратно фраз вычерчивался достаточно предосудительный профиль инженера, не умеющего ладить с общественностью и оказывающего на рабочих нездоровое влияние.

Может, тут и преувеличение, уместное при фельетонной подаче. Но Зеленскому представилось, что и сам

он нечто улавливал. Васнецова знал он не слишком. Не вполне успел разглядеть. Тем более, что и сам Васнецов не обжился достаточно в Ломже. И никаким устойчивым обликом его, сложенным из коллективных суждений, еще не обладали и местные жители.

Однако, разве не чувствовалось, что Васнецов чрезмерно развязен. Он беседовал с бригадой любезно, но отмахивался от советов. А нежелание ускорить машину? А частые ремонты валов? Статья явилась ключом, открывающим дверь без зацепок. В ней качества Васнецова выступали с осязаемой выпуклостью. И ясно — с подобными чертами заведующий производством вряд ли сплотит рабочих и одолеет прорыв.

Зеленский бежал, размышляя. Наконец-то схвачена нить.

И важные надежды Зеленского, касающиеся его личной судьбы, надежды, связанные с одобрением Баха, гнали его по мосткам.

5

Директор фабрики Ложкин сидел особенным образом. Крепко уперся в плотную спинку легкого летнего креслица и подхватил сжатыми руками задернутые выше уровня стола колени. Тесно обтянутая кожа лица в бороздках мелких морщинок. Ложкин сидел в неудобном умышленном положении, словно вот опрокинется на бок, рыжеватый, в синей косоворотке.

Он сидел и будто прислушивался. В полувисячей позе, словно связанный в узел. Можно было представить, что спустится крюк с потолка и, подхватив его за ворот, пронесет над столом за окно. Можно было решить, что он приготовился к этому и, чтоб обезопасить себя, весь сложился и сжался.

В дверь постучали. Он не повел головой. Тогда дверь отодвинулась и в отверстие проник человек.

Он удивленно всмотрелся. В кабинете господствовала тишина.

Вошедший остановился, потом дошел до стола. Ложкин спал. Это было совсем неожиданно. Столбик солнечного луча кругло стоял на столе, как стакан. Ложкин ровно дышал. Его запавшие веки чуть вздрагивали. Он заснул очевидно мгновенно.

— Слушай, директор, — тихо сказал Васнецов.

Руки Ложкина, вдруг ослабев, расцепились, тело качнулось, он чуть не упал. Он проснулся и сразу вскочил. Недоуменная, неопределенная улыбка стояла в его светлых глазах и мягко владела губами.

— Ох-хо-хо! — сказал он. — Чорт возьми! — Бессвязными восклицаниями он устанавливал свое отношение к действительности. Его пальцы быстро прошлись по столу, словно приводя его в годное для работы состояние, — Ну, что нового? — сказал он, вполне возвратившись в себя.

— Что ты скажешь, директор? — в свою очередь спросил Васнецов.

— Ничего не скажу. — Ложкин смотрел, усмехаясь. Они будто продолжали оборванный вчера разговор.

— А я тебе скажу, что брошу все и уйду.

— Пустяки. Ты что, заболел?

— Слушай, Ложкин, ты знаешь, что я имею в виду? —

Он взял со стола маленький номер газеты и, держа его двумя пальцами, переложил поближе к Ложкину.

— Читал, — сказал Ложкин, отодвигая газету. — Ты мне лучше скажи, почему у тебя ночью был простой на втором дефибрере?

— Вот как ты разговариваешь! — встрепенулся вдруг Васнецов. — Потому что транспорт ни к чорту. Паровоз сошел с рельс, задержали подачу баланса. Потому что ты все это знаешь. Потому что я тебе уже докладывал ночью на фабрике.

Ложкин расхохотался. Смех привел в движение его сухую фигуру. Он подпрыгивал в кресле, цеп-

аяся руками за стол. И подавился, закашлялся. Скрежещущий кашель чахоточного. Ложкин вжал в рот платок, капли пота ползли по морщинам. Продолжая кашлять, он оглянулся на дверь. Там входил еще посетитель.

Он был лыс. Яйцевидной формы лицо. Короткие брюки и плотные чулки до колен. Его можно вообразить на велосипеде, и от этого представления становилось смешно. Он держал в руках клетчатую рябенькую кепку и, кивнув присутствующим, опустил кепку на стол. Он набил английскую трубку и спокойно присел на диван.

— Я сейчас был на фабрике, — сказал он без всякой интонации. — Много рвется бумаги сегодня.

— Ветер, — объяснил Васнецов.

— Как вы сказали? — обернулся пришедший.

— Ветер, окна открыты. Сильная тяга в помещении. От ветра рвется бумага.

— У нас вентиляция неважно рассчитана.

Это вмешался Ложкин. Его замечание подкрепило слова Васнецова. Ложкин стал чрезмерно спокойным. От смеха не осталось следа.

— Какие бывают случайности, — монотонно продолжал посетитель. — Даже ветер, и тот против плана. Понимаете, — он обвел глазами присутствующих, — появляется ветер, ну, что ему стоит повисить нам выработку. Нет, он дует навстречу. Этакий вредительский ветер. — На губах его выдавилось подобие улыбки. — Значит, только от ветра разрывы?

Васнецов повернулся к нему:

— Разве я сказал — только от ветра?

— Может, скорость бумажной машины тоже имеет значение? — Человек говорил будто издалека и как бы в пространство посылая вопросы.

— Все имеет значение, — отвечал Васнецов. — Качество древесной массы, качество целлулозы. Слушай Ложкин, — прервал он себя, — я зачем к тебе пришел? Ты пошли им в „Красный Треугольник“ молнию. Почему они вал наш задерживают. Завтра может фабрика отать!



— Васнецов, ты не волнуйся, — тихо вымолвил Ложкин. Он смотрел строго и взросло. — Понимаешь, ты не расстраивайся. Я пошлю телеграмму.

— Хорошо. — Васнецов двинулся к двери. Но еще раз глянул на Ложкина и весело улыбнулся ему. — Хорошо, — повторил он и вышел, будто чем-то внезапно обрадованный.

6

Стало тихо. Из-за перегородки сухонький стук пишущей машинки. Поскрипывали деревянные лестницы. В коридорах передвигались шаги. Дело доходило даже до голосов, которые обнаруживались в неизвестных направлениях и, смешиваясь, уничтожались. Дом источен негромкими звуками. Но в комнате продолжалось молчание. Ложкин разглядывал Баха. Бах напомнил ему почему-то угодника. Какого-то персонажа из священной истории, виденного в детстве в деревенской церкви. Ложкин тряхнул головой.

— Вот что, Бах, — сказал он, — надо написать в Москву.

— Я уже писал, — откликнулся Бах.

— Я не знаю, что ты писал... — Ложкин остановился. „Почему он говорит Баху ты?“ Хотя оба они члены партии.

— Надо написать о ремонте. Времени сколько прошло. Посадят нас на зиму снова без биржи. Опять на суботниках поедем. Дров для фабрики не натаскаешь руками.

— Ну, а ты что сам не напишешь?

— Я не только писал. У меня человек сидит в Москве по этому делу. Но надо, чтоб бригада толкнула. Я просил бригаду прислать, чтобы она дала свое заключение.

— Так ты думаешь — бригада приехала только по вопросам ремонта?

Ложкин набрал полные легкие воздуха и медленно вытолкнул его обратно.

— Я вовсе этого не говорю.

Оба посмотрели друг на друга. У Баха слегка косили глаза. Бах страдал астмой. Он вынул из кармана жестяную коробку и, раскрыв ее, ссыпал на крышку горку сероватого порошка. Не спеша, поджог порошок, и тот закурился синим тягучим дымком. Всунув нос в длинные пряди дымка, Бах жадно им затянулся. Дымок вязко полз по щекам. Ложкин следил за действиями Баха, и от дыма, по липкости и густоте напоминающего кадильный, церковные обрядовые представления снова всплыли в его голове.

— Как партиец партийцу скажу, — произнес Бах пустым, шелестящим голосом, — у нас нехватает контакта. Вразброд мы оба работаем.

Ложкин был удивлен. Куда Бах, собственно, гнет? Но тот не гнул никуда. Рыхло осевший в кожаном кресле, он пыхтел, жуя губами дымок.

— Я знаю, как ты рассуждаешь. Приехали со стороны, ни чорта в производстве не смыслят. Только путают дело. Я б и сам думал так на твоём месте. Это естественно. Ты проявляешь во всем осторожность. Это правильно тоже. Тебе кажется — вот здесь вынуть подпорку и весь дом рухнет. Ты не думай, что я учу кого-нибудь. Я никого не учу. Нас всех вместе партия учит. — А партия кто? — перебил его Ложкин.

— То есть как?

— Партия? Это мы все сообща и есть партия.

— Разумеется, — пожал Бах плечами, отбрасывая реплику Ложкина. — Тебе кажется, — приблизился снова к Ложкину голос Баха, голос завывающийся, как дымовая спираль, — что нельзя людей подтолкнуть, как бы они не рассыпались, как бы чего не случилось.

Ложкин откинулся в кресле.

— Я людей не только толкал, я их и на смерть посылал. Когда надо, конечно. Ты лучше забудь, что ты здесь говорил. И я позабуду. И будем работать дальше, будто никакого разговора и не было.

Бах потряхнул протлевший порошок в пепельницу и сунул коробку в карман. Последний вздох дыма загас над его головой. Лицо Баха осталось вполне безразличным.

— Ты устал, Ложкин. Ты переутомился. Ты болен. Тебе надо в отпуск поехать, — сказал Бах равнодушно и жестко. — Я разве не понимаю, у нас разве людей берегут. Ты прекрасный работник. Тебя давно нужно в центр перебросить. А ты сидишь в Ломже, тянешь весь воз на себе. И всякий тебя упрекает — Ложкин слаб, с производством не справился. А кто тебе помогает?

— Знаешь, Бах... — Ложкин остановился. „Почему он говорит Баху ты?“ — Обо мне другой разговор. Я с тобой не о том хотел говорить. И хитрить не собираюсь. Я, друг, ни с кем не хитрю.

Бах сидел, ленивый и медленный, словно все давно предусмотрено, и ничто его не взволнует, и давно есть ответы на все.

— Сегодня мы собираем рабочих. Нужно дать отчет о состоянии фабрики. Сменно-встречный надо вводить. Пусть бригада все выскажет прямо. Ты вот все намекаешь в статьях — и насчет руководства, и кто-то там тормозит производство. А рабочие беспокоятся. Ты — свежий человек, тебе виднее со стороны. Пора называть имена и не взирая на лица.

— На беспартийном собрании?

— А газету ты только для партийцев печатаешь?

Лицо Баха слегка пожелтело.

— За газету я отвечаю.

— А за фабрику пока еще я. Впрочем, фракцию мы созываем перед началом собрания.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Королев стоял у бумажной машины. Не вплотную, а отступя, шагах в трех поодаль. Цех высок, вместителен, длинен. Под белым с пятнистыми налетами сырости потолком — массивное гнездо подъемного крана. Стены в белой корке известки. Равномерный, широкий, со всех сторон поступающий свет. Влажный шум бурлящей воды, длинное гудение вращающихся цилиндров.

Королев свыкся с шумом давно. Он ощущал его, как непрерывное, в сущности беззвучное давление на все свое тело. Жарко. В белой рубашке с отстегнутым воротом, с рукавами, завернутыми за локти, выпрямившись, Королев слегка покачивался, словно шум колыхал его за плечи. Прямо направленный взгляд рассекал машину в том месте, где свежее образованная бумага сползала с сетки и прилипала к первому валу. Жарко. Машина звенела, жирно блестящая медными осями цилиндров.

Машина занимала весь цех. Она вытянулась своеобразным, устойчивым, но содрогающимся на месте заданием, то снижающимся, то вырастающим в несколько ярусов. Королев надзирал за одним из районов машины, именно за тем, где только что склеившаяся в бумагу масса скатертью стягивалась на вертящийся вал.

Королев мог размышлять, отстаивая восемь часов. Размышления не разбивали внимания, устремленного к широ-

кой бумажной белизне, под углом льющейся с сетки. Он следил за степенью натяжения бумаги и за тем, чтобы она не порвалась. Работа Королева была созерцательной. Она происходила в сетчатке его глаза. Его внимание действовало около едва уловимого места, где из сырого жидкого месива словно вспыхивала пятнами первичная бумажная белизна. Он принимал участие в ее правильном возникновении, прикасаясь к ней длительным взглядом. Иногда глаза уставали, их словно заливало молоком. Тогда он закрывал их и, будто промыв, посылал взгляд обратно в машину.

Слева от него вздрагивал широкий сеточный стол. Так называлась важнейшая часть машины. Сетка, сплетенная из проволок, уложенная в длину на ряд вращающихся валков. По сетке стелется масса. Сетка скользит по валкам. Влага процеживается сквозь отверстия сетки. Сотрясаемая движением сетки, сцепляется масса в ровный бумажный пласт. Крайний валик под сеткой, укрепленный только одним концом, все время сдвигается от быстрого прикосновения сетки. От этого изменяется натяжение бумажного листа. По временам, приближаясь к столу и трогая рукоять регулятора, Корольев управлял положением валика. В этом заключалась физическая сторона его деятельности.

Направо от Королева находился ряд других наблюдателей. Бумага попадала под прессы. Над валами висели два узеньких мостика. Работница в купальном костюме и рабочий в синих трусах надзирали за проскальзыванием бумаги между валами, наклоняясь с длинных балкончиков. Дальше шла сушильная и холодильная части. Цилиндры в три яруса, одни, заполненные горячим паром, другие — холодной водой. И тонкий лист выгибался, дрожа, вдоль связующих цилиндры сукон, пропадая под животами валов, пока непрочная и робкая пленка, не соответствующая массивности сооруженного для нее оборудования, окончательно выглаженная и просохшая, не наматывалась тонкими слоями сперва

на металлическую ось, а после второй перемотки на твердый картонный патрон. Но это было на другом краю помещения и от процесса перемотки до Королева добирался только прыгающий, временами нарастающий гром.

Часто сквозь пространство, порученное вниманию Королева, проходил сменный мастер. Иногда легко и отрывисто по цеху следовал Ложкин. Подчас возникал Васнецов. Он подбегал то к одной, то к другой части машины, останавливался на мостках и смотрел вниз на валы, вчитываясь в машину, как в книгу. Обращался к повернувшемуся рабочему и, путая русские, финские и немецкие слова, раздельно вкладывал их в слух собеседника.

Недавний приезд Васнецова рабочие приняли миролюбиво, но сдержанно. Они привыкли за последние месяцы обходиться без инженера. Предшественник Васнецова, пожилой, обремененный знаниями, почти с ними не соприкасался.

Он аккуратно смонтировал фабрику и пустил ее в ход. Представители немецкой фирмы, доставившей оборудование, удивлялись его осведомленности. Он мог объяснить без запинки все нововведения любой западной фабрики, словно видел их перед глазами. В европейских условиях, при безграничных резервах, он мог бы вести любое предприятие. Он не учитывал одного — возможности катастрофы. Катастрофа встретилась скоро. Центральный медный вал, отжимающий из бумаги влагу, лопнул по неизвестным причинам. В машину вкатили резиновый вал, рабочие свойства которого значительно ниже. Значит, машина должна давать меньше бумаги. Для инженера это являлось незыблемой истиной. Страна же требовала выполнения плана.

Тут разыгрывалась трагедия, столь частая в наших условиях. Столкновение осмотрительных теоретических знаний с напористой настойчивостью эпохи. Законы, годные в мирной обстановке, опрокидывались хаоти-

ческим на первый взгляд, но по-своему осмысленным бурным порядком военного существования. Тут был спрос на воображение, на умение поспешно менять оружие в зависимости от обстановки. Но инженер считал, что производство только сложный расчет, чистый и нерушимый, как расчет движений планет вокруг солнца. Изменять устройство небесной механики — его этому не обучали. Тут был спрос на творчество, на находчивость, на особого рода искусство. На высасывание пустяков из пальца — так полагал инженер. Возникла глухая борьба. Инженер остался один.

Можно представить легко этого пожилого полуседого человека. Плотного, с одышкой, — года утомили сердце. Он, вероятно, в очках, — зрение износилось от разглядывания книг с математическим шрифтом. У него всегда чистое белье и чуть пожелтевшие от частых стирок воротнички. Он сидит тяжеловатый, неловкий, из дорогого сукна, но мешковатом костюме. За деревянной застекленной перегородкой в рольном цехе отведен ему кабинет. Это небольшая клетка, где сосновый письменный стол, твердое кресло и напротив стул для посетителей. Деревянная коробка телефона, под зеленым абажуром настольная лампа. Перегородка не предохраняет от шипящего клочкотания цеха. Сквозь окошечки в перегородке видны массивные овалы целлулозных бассейнов. Серые тени рабочих, нагибающиеся над бетонными бортами. Между инженером и рабочими многогранная застекленная стенка. Окошечки словно удаляют рабочих. Немо взмахивают руками далекие человеческие тени. Если даже выбирается он из кабинета, ему до них не достигнуть. Как устроен рабочий — этому его не учили. Нужны доброкачественные машины. Если портятся они, необходимо их восстанавливать. И тогда только требовать правильной выработки. Но этого не желают понять. И вот назревает обида.

Он проходит по фабрике, отягощенный заботами, обидой и напрасными знаниями. Ему трудно обращаться

к рабочим. Язык словно распух. Воздух застревает в груди, расширенное многолетнее сердце неудобно поворачивается между ребрами. Инженеру кажется — все видят его неудачу и стараются не смотреть ему в глаза. Может, даже за спиной обмениваются улыбками. Только с Ложкиным может он говорить, но и Ложкин с ним не согласен. Нет спокойных трезвых людей. Нельзя видеть черное белым.

Наконец, инженера снимают. Он уезжает в Москву. Рабочие обходятся дальше без технического руководства. Теперь они соприкасаются исключительно с Ложкиным. Ложкин бессменный директор. Он подробно знал фабрику. Ему пришлось намечать задания бригадам, расследовать с мастерами вопросы о сложных ремонтах. Он вслушивался в суждения рабочих, пытался приводить их в стройный чертеж. Но он не был специалистом. Он ощущал себя самоучкой, испытывающим за свой страх давно найденные законы. Он не был робким, но мучительно опасался за фабрику. Он боялся, как бояться мужественные люди, учитывающие без прикрас свои силы. Поэтому он вздохнул облегченно, когда после долгого командования он технически-оперативный участок мог разделить с Васнецовым.

2

Сбоку в цех вошел Короленко. Королев ему улыбнулся. Короленко к нему приближался, тоненький и аккуратный, в серой штатской двойке, в черной косоворотке, в плоской чистенькой кепке. Королев подошел к регулятору и, вернувшись на свой кусок пола, застал Короленко рядом. Короленко взял Королева за локоть. — Торчишь, как семафор, ну, торчи.

Королев ничего не ответил.

В выездной редакции Баха Короленко был техником газетного дела. Правил заметки, верстал, приходил каждо-

дневно на фабрику. Королев — плотный и скуластый, с гладко выбритой головой, широкой и шарообразной. Короленко выглядел мягче.

Теперь оба смотрели они, как стремительно лист налипал на дырчатый вал, из которого выкачан воздух. Лист летел с такой скоростью, что, казалось, лежал на валу неподвижно.

Короленко смотрел с удовольствием. Ему, попавшему недавно с бригадой на фабрику, еще были интересны детали процесса. Они не удивляли его, — он знал много пород индустрии, но при всей их понятности они его занимали аккуратной осмысленной стройностью. В рабкоровских блужданиях он умел заинтересовываться каждым новым заводом. Он вглядывался в играющий желтыми отблесками вал, радуясь воплощенной в нем силе движения.

— А вчера опять работали плохо? — спросил он. — Почему?

— Много рвали. Масса плохая. — Королев пошел к регулятору, словно ставя предел разговору.

Он вернулся. Короленко не тронулся с места. Королев примкнул к нему снова, как в военном строю.

— Почему? — повторил Короленко. — Дефибrierщики говорят, масса была, как всегда.

Королеву стало неловко. Он знал, что ответил не так. Все бумажники вечно ссылаются на древесно-массную часть. Но подобный ответ являлся признанием беспомощности. Значит, если масса слаба, у бумажника связаны руки?

— Биржа еще — никуда, — лениво сказал он, не глядя на Короленко.

— Биржа? — прислушался тот.

— Да, — заговорил Королев. — Вот вы пишете все в газете, а на биржу никто не ходил. Я сам там работал, я знаю. Сырость, грязь... пилят вручную. Поезда сходят с рельс. Зимой из-за биржи сколько стояли.

— Рейд надо устроить, — сказал, вздохнув, Короленко. —

Непременно. То есть, это разве работа? Это слезы, а не работа.

— Ты о чем? — спросил Королев удивленно.

Короленко наклонился к нему:

— Я тебе прямо скажу, только ты не болтай, понимаешь? Или я совсем ненормальный, или этот Бах Шуму, крику в редакции. А чтоб номер во-время выпустить, на это нет человека. Один я сижу, как пришитый. Я ему давно говорил, у нас не все участки обследованы. Куда там, не подступись. Генерал. Я не первый раз езжу в бригадах. Я такого бригадира пошлю знаешь, куда. Вот увидишь.

Короленко пошел взбудораженный. Он размахивал на ходу руками, словно продолжал разговаривать дальше. Он дошел до маленьких ходиков, по домашнему затерявшихся на огромной белой стене. Желтая гирька свисала на цепочке, будто медная, вытянувшаяся перед падением капли. Короленко взглянул на часы и опять зашагал к Королеву.

— Королев, — наклонился он, разглядывая вплотную собеседника.

— Ну?

— По-товарищески скажу, напрямик. Все тут валят один на другого. Все работают без интересу.

Королев думал не быстро. Обида охватывала его постепенно, словно огонь сыроватые сучья.

— То есть как? — спросил он, облизнув крепкие губы, — что ж мы лодыри, что ли?

Возможно, ему хотелось сказать, что он сам два года на фабрике и все его мысли давно управляются ею. Что если б его отделили от фабрики и от знакомых ребят, он почувствовал бы себя пустым, будто с вынутыми внутренностями и выкачанной кровью. Он искал слов возмущенных, громких и опровергающих, но их не было в распоряжении, и он повторил оскорбленно, отвечая не за себя, а за всю смену, за все четыре смены товарищей.

— Лодыри мы, скажешь?

Черный прямоугольно вырезанный балкон подъемного крана тихо сдвинулся с места. Поставленная на балконе будочка шла по прямой линии в воздухе. На огромном крючке, прикрепленном к натянутому столбику троса, чуть раскачиваясь, плыл резиновый вал. Кран неслышно прошел над головами беседующих, словно длинное, причудливо организованное железное облако. Вал слепо и точно, как по невидимым рельсам, протянулся мимо их лиц. Достигнув конца цеха, он полежал неподвижно в воздухе и равномерно стал спускаться на пол.

— Я ж тебе объясняю,— сказал Короленко.— Нужно, чтоб каждая смена каждый день имела задание. И перевыполняла его. Хоть на немного. Получает задание от мастера, скажем, дать 20 тонн. И тут же перед началом работы решает: нет, машина идет хорошо, массы достаточно, дадим 21 с половиной. Тогда каждому все понятно. Не об месяце речь, а об дне. Тогда всем интересно работать. И за лишнюю выработку смена больше получает. Смена каждый день себя контролирует. Что ты скажешь? Я тут всем об этом толкую.

Королев хотел отвечать, что он должен подумать. Он должен был мысль опустить глубоко. Как прожеванную пищу в желудок. И когда она станет его неотъемлемой собственностью, будет ясно, как с ней обращаться. Но прежде, чем он раскрыл рот, по цеху пронесся свисток.

Втиснув пальцы в рот, свистнул парнишка над прессом. И, свистнув, подпрыгнул на узеньком мостике. Поднял руки и завертел ими в воздухе. И тотчас от стен, с табуреток, от деревянных перилец, ограждавших люк для сбрасывания брака в нижний этаж, отделились, соскочили, отдернулись покуривавшие, беседовавшие или спокойно наблюдавшие машину со стороны. И тотчас, словно их раздуло ветром, каждый бежал сам по себе к своему отдельному месту. Свисток означал, что порвалась бумага под прессом и скомканный, свернувшийся

лист закручивался вокруг цилиндров, не умея найти связный правильный путь. Он быстро шумел и распарывался, забивая проходы в машине. Вслед ему поступала дальнейшая, все время идущая с сетки бумага. Наталкиваясь на вертевшиеся среди валов, белыми пузырями прыгающие вдоль сукон хлопья распавшегося листа, новая бумага в свою очередь ломалась и плющилась. Машина со всего разбега гнала брак, нараставший с каждой секундой.

Бежали со щетками, укрепленными на длинных, как мачты, палках. Щетки вдвигались между цилиндрами, сновали в вертящемся доме машины, будто крысы скакали по рамам. Комья бумаги захватывались их серыми щетинистыми лапками, и рабочие, вырывая щетки обратно, сбрасывали эти рыхлые комья на пол, как мокрое, отдающее пар белье. Требовалось мгновенно расчистить дорогу, прежде чем рваная ткань законопатит валы. Требовалось заправить вновь поступающий лист, чтоб он, не спотыкаясь о брак, плавно потек по валам. Бежали с насосами и прямой воздушной струей выбивали наружу перегнутые, как попало, куски. Столбиком той же струи, как невидимой тростью, подхватывали новую бумажную ленту и клали ее вдоль сукна, чтобы протрепетав, она вытянулась и заскользила, уносимая тягой машины. Наконец, нужно сузить бумагу в самом ее зарождении, то есть там, где она снимается с сетки, так как узкую полосу легче направить. И тогда, оглянувшись на свист, Королев взбежал на помост, укрепленный у сетки.

Королев вращал маленькое колесо: острая струйка воды, как тонкий сверкающий нож, ползла поперек бумажного листа, растворяя его и не позволяя пуститься дальше под пресс. Королев уничтожил бракованное поле, превратив его в узкую белую тропку.

Рабочие металась по цеху. Кое-кто всовывался в машину по грудь. Некоторые неслись вдоль машины, подсакивали и выдирали из ее чрева бумагу клоками.

Сменный мастер с несвойственной ему легкостью вприпрыжку бежал в сторону Королева, крестообразно раскинув руки и, казалось, он упадет вперед на колени. Но он остановился и описал круг правой рукой. Появление этого круга в глазах Королева значило, что машина прочищена и можно лист расширять. Королев завертел колесо в обратном направлении, и водяное шило, ограничивающее дорожку бумаги, заскользило назад на своем острие. Оно уступало место белизне все более широкой и натянутой между сеткой и валом, как парус. — Зайди вечером нынче в редакцию.

Королев пустил лист во всю ширь и кивнул головой Короленке.

Волнение, передвинувшее все в цехе, затухло столь же быстро, как вспыхнуло. Люди неуверенно описали еще несколько петель, приблизились к машине и снова от Нее оттолкнулись и опять устойчиво замерли по двое, по-трое, поодиночке. И только уборщица, выгнувшись вперед, вытянутыми руками толкала тележку, чтобы сложить на нее желтоватые сырые узлы жгутообразной бумаги, вывернутой на пол и еще отделявшей от себя сероватый парок.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

1

Васнецов поднимался по лестнице. Фабрика состояла из трех этажей. Лестница, заваленная грохотом, соединяла их угловатыми перекрытиями. Банный запах целулозы тепло клубился над лестницей. Невдалеке время сменяться, и люди из следующей смены сходились, чтобы успеть предварительно пообедать. Старшие кланялись Васнецову степенно и сдержанно. Молодежь улыбалась. Васнецов помахал всем рукой. Он чувствовал себя несвободно.

Это происходило оттого, что почти все эти сеточники, сменные мастера, дефибрерщики были старше его. Многие из них были финнами. Они словно чтити свой возраст и накопленное годами умение. В них чувствовался осознанный профессионализм, навыки и традиции, почти ставшие чертами характера. Разрушать их нет оснований, хотя иногда ощущались они, как скорлупа, оберегавшая владельцев традиций и навыков от вторжения новых возможностей. Васнецов понимал, какая тут нужна осторожность. Каким нужным мостом здесь является доверие. Вот почему волновали его последние печатные выступления бригады.

Помимо финнов, частью оставшихся на Советской стороне после гражданской войны, частью переселившихся из Канады, из Штатов или Финляндии, испытанных, иногда наследственных бумажников, помимо рус-

ских, стянувшихся из разных краев и заводов обживать неосвоенный район, на фабрике обосновались карелы. Это люди, выдвинутые решительной необходимостью из деревень в цеха. Но необходимость была вполне жизненной. Она напоминала необходимость расшвыривать зерна по полю, чтоб впоследствии эти выброшенные зерна взошли. Эти люди никогда не подозревали, что им предстоит стать рабочими. Как не подозревала и вся их страна, искусственно замороженная до революции, что ей предстоит пробуждение, деятельное и полное замыслов. И, однако, в кратчайшие сроки они вошли в производство, как входит накрепко винт в нарезанное для него отверстие.

Васнецов любил эти промежутки в непрерывно работающих фабричных сутках, когда смена замещала смену. Обычно довольно безлюдное помещение фабрики становилось тогда оживленным. По просторным цехам распространялись и двигались группы. Люди приветствовали друг друга короткими кивками, обменивались фразами, улыбались, схватывали друг друга за руки. Группы направлялись, главным образом, в сторону древесно-масного цеха, где за деревянной перегородкой скамьи и столы образовали столовую. Осененные, как потолком, протяжным грохотом дефибреров, перетирающих еловые бревна в светлую жидкую кашу, пришедшие на смену торопились обедать. И потом постоять, покурить на отведенных для куренья, огороженных низенькими периллами пунктах, потолковать, поглядывая на острые стрелки ходиков. Это были клубные десять-пятнадцать минут, когда фабрика становилась местом бесед. Люди словно радовались, что вот, после шестнадцатичасового промежутка все они налицо, продолжают существовать, и каждому обеспечен его пост у машины. Стрелки ходиков дергались, и один за другим отделялся от группы куривших, беседовавших или прогуливающихся и направлялся к знакомо шумящему месту в цеху, чтоб, не пропустив ни минуты, отодвинуть товарища и, перехватив

его действия, без разрыва продолжить их дальше. И когда стрелками ходиков рассекались определенные цифры, места для курящих пустели, но из цехов проливался встречный поток освободившейся смены, чтобы в свою очередь требовательно заполнить столовую.

Кабинет Васнецова находился в ролевом цеху. В четырех подковообразных бассейнах пучилась размякшая розоватая, похожая на распаренный картон целлулоза. Рабочие, нагибаясь над овальными колодцами, направляли тягучий целлулозный поток под укрытые скорлупой деревянных футляров барабаны, укрепленные по краям бассейнов. Барабаны глухо стучали. Легкий пар всплывал в помещении. Воздух лег на лицо Васнецова, как мокрая теплая тряпка.

Новая смена еще не заступила кончавшую, и оба сменных мастера, Сиверс и Панаев, курили около разрешенного для куренья пункта. Они курили именно около, а не внутри барьера, и в подобном неуловимом проявлении независимости, в уверенности, что никто не попросит их отойти за барьер, было легкое подчеркивание особых прав и заслуг, сопутствующих их почетному званию.

Оба были совсем не схожи.

— Сколько тонн? — подошел к ним Васнецов.

Смена Сиверса кончала работу.

— Девятнадцать, — ответил вежливо Сиверс.

Смена Сиверса выработала среднюю норму. При трехсменной работе в лучшем случае выработалось бы тонн шестьдесят. Васнецов упирался в эту тугую, никак не сдвигаемую с места цифру. Было б легче, если б выработка резко откатилась назад. Это указывало бы на аварию, на явный, легко обнаруживаемый пробел в производстве. Но устойчивое, не переваливающее за двадцать сменных тонн состояние имело вид непростибельного благополучия. Эта выработка не представлялась позорной. Приличное уравновешенное отставание от плана. Васнецову захотелось выругаться, но он сдержался,

понимая, что ругать ему следовало в первую очередь себя самого.

— Ну, что ж, — сказал он, — ничего, не плохо. Нормально.

Сиверс молчал. Он стоял, сухопарый, опрятный. Голубые глаза его на бледном, резко очерченном лице смотрели внимательно и прохладно. На Сиверсе синяя рубашка в мелких белых горошинках. Вязаный галстук цветной полосой разделял его грудь. Несмотря на жару, желтая, аккуратно продавленная по середине шляпа обнимала его пегие, прилипшие к вискам волосы. Он смотрел с неопределенным, неоформленным до конца выражением, готовый и улыбнуться, и стать совершенно серьезным в зависимости от направления разговора. Но эта готовность не имела и тени угодливости. Уважение, которое он предлагал собеседнику, могло быть обменено только на равное уважение с его стороны.

— Ну, а средняя скорость машины? — Васнецов не намерен ни шутить, ни пускаться в длительные обсуждения. Из вопроса нельзя уяснить, в какую сторону отклонится разговор.

— Метров 180—190, — подает реплику Сиверс.

— Значит, все хорошо? Не правда ли, Сиверс? Простое не было?

Сиверс слегка озадачен.

— Машина шла хорошо.

— Значит, все отлично. Шестьдесят тонн сегодня, пожалуй, сдадим?

Сиверс согласен улыбнуться, но что-то мешает улыбке.

— Шестьдесят тонн? Конечно.

Он словно успокаивает Васнецова. Успокаивает сам себя.

— Наши верные, крепкие шестьдесят тонн. Ниже мы не сползем, — говорит Васнецов. — Что бы там ни случилось. Или загоним пятьдесят, как позавчера? Нет, товарищи, думаю, шестьдесят будет нашим постоянным достижением. Выше которого нам не вскарабкаться. Нет возможности, что бы там ни писала бригада.

Сиверс попрежнему сдержан. Но явственное недовольство распространяется в его груди. Что он, Васнецов, дурак? Что он, правда, воображает, что Сиверсу не удавалось за всю жизнь накручивать в смену больше двадцати тонн? Сколько лет на производстве такой Васнецов? Три года, пять самое большее. А Сиверсу сейчас тридцать девять. А работает он с пятнадцати лет. А финские фабрики, чистенькие и сверкающие, как часовой механизм? А фабрики американцев с корпусами вокзалоподобных цехов. Разве Сиверс в них не входил? Разве он не стоял там у блестящих сеток, сгущающих ослепительное молоко безупречно изготовленной массы в полотнища высокосортной бумаги? Двадцать тонн за восемь часов, что он думает такой Васнецов, что Сиверс этим гордится?.. Двадцать тонн грубоватых, излишне плотных листов.

— Сейчас больше нельзя, но... — начинает обиженно Сиверс.

— Почему же? — перебил его Васнецов.

— Вал плохой, не выдержит скорости. Масса слаба.

Сиверс объясняется нехотя. Если не понимает Васнецов таких пустяков...

Но тут вступает Панаев.

Панаев тоже высок. Он не меньше Сиверса ростом. Но весь образован грубее. Значительно шире, объемистей Сиверса. Лицо его кругло и темно. Густые, черные брови нахиты над глубоко уложенными, изнутри вспыхивающими глазами. Его неуклюжесть решительна. Он переступает с ноги на ногу и чуть горбится в темноту своей прозодежде. Маленькая кепка не помещается на его голове. Он говорит тихим голосом, неожиданно беззвучным для его массивного тела.

— А я думаю, можно попробовать.

Сиверс слегка поворачивает голову. Не расчетливо пробовать, когда нет достаточной слаженности. Не следует наступать, не имея надежного тыла. Таковы его мысли. Но он их не обнаруживает. Он достаточно ценит

свое выработанное осмотнительно мнение. Он едва пожимает плечами.

— Пробовать можно всегда. Отчего же не пробовать?

Панаев не оспаривает Сиверса. Сиверс не возражает Панаеву. Оба делают вид, что меж ними нет разногласия. Оба опытные мастера и каждый признает качества другого. Оба, в сущности, говорят об одном. Тут лишь легкая разниа, неуловимая невооруженным глазом. Различие темпераментов, разная расцветка характеров.

— Но масса должна быть хорошая, — добавляет, словно опять подтверждая товарища, своим лишенным звуков голосом мастер Панаев.

— Масса хорошая будет, — произнес Васнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Массу получим, товарищи. Вот с валами... — Его мысли снова покатались вдоль злополучных валов. Медный вал, прочнейший и дырчатый, отжимающий лишнюю влагу. Когда же взамен треснувшего доставит его заграничная фирма? Наконец, пока его нет, когда придет „Треугольник“ резервный резиновый?

— Да, конечно, чересчур рисковать мы не будем, — медленно говорит Васнецов. — Но массу, конечно, улучшим. И это даст результаты.

Мастера опять согласились, хотя каждый понимает Васнецова по-своему.

2

Бах притворил осторожно двери кабинета Ложкича и пошел коридором. Деревянные половицы поскрипывали. Лицо выражало брезгливость. Он смотрел прямо перед собой.

Служащие, пробегая с бумагами, торопливо кланялись Баху. Иные проскакивали мимо него, словно боясь зацепить. Иные, наоборот, здоровались громко. Бах должен был их заметить. Но Бах не замечал ничего.

Он прошел сквозь взгляды встречающих, как сквозь паутину. Очевидно, он был озабочен.

Бах приблизился к лестнице, спускавшейся в нижний этаж. Бах намерен спуститься в редакцию. Но на лестнице, уцепившись руками в перила, неподвижно замер Зеленский. Бах успел оглядеть его худенькую фигурку в свободно болтавшемся пиджачке. Зеленский сильно задумался. Горячие и быстрые мысли бороздили его сознание. Он весь трепетал, оставаясь внешне спокойным. Только глаза за стеклянными листиками пенсне пристально и воодушевленно блестели.

— Я вас жду, товарищ Бах, — вскинулся он вверх по ступенькам.

— Набирается номер? — буркнул Бах, пропуская мимо волнение Зеленского.

— А! Эгот Микешкин! Только сейчас появился, — махнул рукою Зеленский.

— А что же он раньше думал?

— Да говорит, что спал. Опять затевает бузу. Но я вас ждал не за этим. Тут такие вещи прощупываются. Во всяком случае, надо одернуть.

Бах шел, не останавливаясь. Зеленский торопился за ним. Ему хотелось задержать Баха и без посторонних выложить все. Он почти схватил Баха за локоть. Но тот распахнул дверь редакции.

Редакция отличалась запущенностью и малым количеством мебели. Ограниченность обстановки усиливалась неправильным ее использованием. Одна деревянная лавка завалена кучами распадающихся газетных листов. Другую скамью занимал ящик наборной кассы, в правильных клетках которого мерцали узкие плитки свинца. Безопасно присесть можно было на единственный стул, заткнутый за редакторский стол, на тесную крышку которого со всех сторон слетелись бумажки, ручки для перьев, газеты и села консервная банка с бархатной и синеватой тяжелой влагой чернил. Здесь находилась и желтая шкатулка телефона, издававшая по временам

дребезжание, тем более досадное, что провода были спутаны и вместо редакции постоянно требовался завком.

Единственным аккуратным островком выглядел столик Короленко, остановившийся в стороне у окна. Он казался причесанным, вымытым и приодетым. Бумаги, добираясь до него, образовывали нарядные белые стопки. Короленко их размечал, тасовал. Он словно играл сам с собой в тонкие, разных размеров карты и, оценив каждый лист, успокаивал его в ему предназначенной папке.

Короленко не поднял лица при появлении Баха.

— Добрый день, — протянул медленно Бах.

— Здорово, хозяин, — откликнулся Шукин, огромного роста художник, присоединенный к бригаде, выводивший сейчас, опустясь на колени, жирными красными буквами лозунг на загибающемся по полу бумажном листе.

На приветствие отозвался также наборщик Микешкин.

Он сидел на редакторском стуле, втиснув руки в карманы. Завалился на спинку всей тяжестью, и стул со скрипом раскачивался. Клок черных маслянистых волос вываливался из-под пятнистой кепки. В линялой майке, в футбольных, грязью раскрашенных буцах, остроносый и загорелый, всем видом своим он выказывал независимость.

Бах медленно приближался к столу, рассчитывая, что Микешкин освободит ему место. Наборщик перестал раскачиваться и, найдя равновесие, утвердил стул на двух ножках. Его черные, быстрые глаза с любопытством разглядывали редактора. Его словно интересовало, каким способом Бах его сплавит со стула. И найдется ли вообще такой способ. Он в сущности готов был уйти, да и остался на стуле случайно. Но теперь его жест был замечен, и Микешкин не мог отступить.

Бах стоял у стола.

Казалось, он не видит Микешкина. Он достал из кармана замшевый, с блестящей застежкой кисет и прямую с шероховатой темнокоричневой чашечкой трубку.

Его плотные пальцы умело размяли светложелтый вольнокнистый табак. С полным равнодушием его взгляд проходил сквозь фигуру Микешкина.

Микешкин забеспокоился. Стул резко скрипнул под ним. Микешкину стало обидно. Он задышал, завопил. — Хозяин, дай табачку, — произнес он хриповатым баском.

Но и это самоутверждение Микешкина не разбудило внимания Баха. Спокойно щелкнув задвижкой, замкнул он свой душистый кисет.

— Ну, так как же с набором? — через плечо спросил он Зеленского.

Тогда Микешкин не выдержал. Стукнув в пол ножками стула, он возмущенно вскочил:

— Разве это работа, хозяин? Вчера до трех ночи возились. Я не договаривался ночи просиживать. И вообще срок мой кончился.

— Пока... пока бригада работает, — захлебываясь, ворвался Зеленский, — пока бригада... никаких разговоров о сроке.

— Я в союзе скажу, — мигом воспрянул Микешкин, обрадованный, что ему возражают. — Привезли сюда и ездят на шее. А как счет на сверхурочные подан, так до сих пор не оплачен.

— Деньги будут. Деньги придут и получишь, — опять заторопился Зеленский. — Здесь работа ударная. Надо относиться сознательно. Рабочие ожидают газету.

— Рабочие, рабочие... Об одних рабочих заботитесь, а на других наплевать. Разговаривать не хотите, — окончательно взорвался Микешкин, раздраженный молчанием Баха. — Что вы мне рабочих подсовываете? Я сам рабочий.

— Если номер сегодня задержится, — продолжал Бах, смотря на Зеленского, — будьте добры, напишите в союз в Ленинград, что присланный союзом наборщик не соответствует своей квалификации. И хотя он считает себя рабочим, в действительности он шкурник и рвач.

Микешкин замер на месте. Он моргал удивленно глазами.

— Это как же! Я не рабочий... Что я набора не видел? Да ваш хреновый набор я в полчаса наберу. А где материал, вы скажите? Опять к ночи подгоните. Шкурник? Да что мне твои сверхурочные? Я лучше б выспался ночью. А ты наладь, чтоб работать без сверхурочных. Номер размером с червонец, а вы с ним возитесь сутки. Редакторы! Специалисты!

— Вручен ему материал? — обратился Бах к Короленке. Короленко сидел как на острове. Волнение окружало его, но не проникало на стол. Он поднял лицо и ответил:

— Передовой нехватает.

— Что?

— Передовая еще не написана.

Бах понял. Передовые писать полагалось ему.

— Остановка за этим?

— Да, — сказал Короленко.

— Ну, взял бы да написал, — произнес Бах, лениво покуривая.

И однако стало понятно, что Бах прав не вполне. Особенно понял Микешкин. Он крепко уселся на стул, откровенно ухмыляясь редактору; казалось, он сейчас подмигнет. Но Бах не смотрел на него.

— Написал бы на полколонки и дал бы мне на просмотр. Так сегодня и сделай.

Короленко собирался ответить. Но вмешался звонок телефона. Короленко взялся за трубку.

— Алло! — закричал он рассерженно. — Да, чорт тебя подери! Не завком, не завком, а редакция. Ищи, где хочешь, завком!

— Так, значит к вечеру номер должен быть выпущен. Передовую ты приготовишь.

Бах направился к двери. Зеленский вышел за ним.

Короленко швырнул телефонную трубку так, что она присела и скрипнула.

— Ух и дьявол! — успокоившись, сразу протянул удовле-

творение Микешкин. — А, Шурка, видал ты такого? А что, и не прав? Ну, скажи, Шурка, по совести.

— Да, набирай ты, чортова шкура, — выразительно сказал Короленко. — Набирай, язва. Истрепался, противно смотреть.

Микешкин сорвался со стула.

— Да, Шурка, душа, ты бы сразу сказал, есть об чем хлопотать. Сделаем собственноручно. Подумаешь, тоже набор. Ты вот передовую готовь, замтоварищ редактора. Политическую передовую, — китайская революция в Ломже.

Микешкин прыгал по комнате.

— А что шкурником он называет, это еще разъясним. Разберем, кто из нас шкурник.

— Ну, ну, хлопцы, вожди, — отозвался ползавший по полу художник, — легче прыгайте, краску прольете, красавцы, сукины дети!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Васнецов хотел зайти в кабинет, но его настигает Лыков. Молодой практикант, вездесущий и тихий, как тень.

— А я вас ищу, — раздвигает он пухлые губы. — Я наладил аппарат. Можно смотреть.

— Ну, и как?

— Действует. В полном порядке.

Они идут, разговаривая. Васнецов обнимает рослого, мягкотелого Лыкова. Они сбегают в нижний этаж по широким бетонным ступенькам.

— Вас тут из бригады разыскивали, — сообщает значительно Лыков.

— Я же Баха сегодня видел. Утром у Ложкина.

— Нет, не Бах, а другой. Всегда забываю фамилию. Сказал, потом подойдет.

— Хорошо.

Они прыгают через ступеньки.

— Ларкин! — зовет Васнецов.

Теперь они в помещении, расположенном непосредственно под цехом, где столовая и куда выступают верхние части дефибреров. Дефибры прорастают через два этажа. Наверху в них закладываются еловые бревна. Сюда бревна спускаются, чтоб прижаться к спрятанному внутри дефибрера точильному камню. Здесь всегда полутемно и всегда горит электричество.

Белые колпаки ламп, — как наполненные светом тарелки. Дефибреры проступают неясно в шумящем распаренном воздухе. Их деятельность определяется непрестанно вываливающейся из отверстия булькающей, раздавленной массой. Мыльные потоки воды хлещут из дефибреров. Здесь первое изменение сырья. Дерево внутри дефибреров утрачивает силы сцепления. Оно перестало быть твердым, оно теперь почти жидкость. И этот жидкий помол должен быть волокнистым и чистым. — Ларкин! — громко позвал Васнецов.

Из паров, распластавшихся в низком вытянутом помещении, из полумрака, в котором сталкиваются два света — электрический и доносящийся из соседнего цеха приглушенный, дневной, причем оба эти света, смешиваясь, будто теряют присущую каждому в отдельности силу, из-за плоскобокой, незыблемой, но все же сотрясающейся от распирающих ее изнутри сил башни дефибрера выдвигается человек. В его походке неотчетливая неправильность. Он не то чтобы хромает, но словно не совпадают движения его ног, и не то чтоб волочит он ногу, но при каждом шаге будто решает, как он должен ступить. Он невысок и высохшее лицо его носит оттенок удивления. Это от приподнятых кверху бровей, от морщин, навсегда подтянувших серую кожу на лбу.

Обердефибрершик Ларкин, будто предлагая пришедшим, несет перед собой маленькую квадратную рамочку. Рамочка напоминает употребляемые для фотографии. Ванночка с деревянными толстыми бортами, дно которой образовано синим стеклом. Перед тем, как его позвали, Ларкин захватил из помола комок растертой древесной кашицы. Он бросил его на синее дно, размочил так, что масса легла тонкой тканью. Он отправился к столику за дефибрером и у электрической лампы приблизил всегда удивленное лицо в светложелтой сетке помола. На фоне синего дна светилась кисея древесины. Прирученный взгляд Ларкина ощутил, что ткань не слишком пушиста. Кое-где он улавливал крохотные

иглы щепы — „спички“, так зовутся они на фабричном наречии. Помол не удовлетворил Ларкина. Ларкин раздумывал, переселив всю силу мысли в протянутое к рамке внимание. Наконец, в глазах зарябило. Он с усилием ступал, держа рамку перед собой.

— Брось кустарничать, Ларкин, — указал Васнецов на стеклянную ванночку. — Я тебе покажу новый способ. — Но сам наклонился над рамкой.

К постоянному удивлению Ларкина теперь присоединилось второе. Он знал, что определяет помол хорошо. Даже не бросив массу на рамку, а только взяв ее в пальцы, одним прикосновением кожи он различал ее мягкость. Но Ларкин был любопытен бескорыстным любопытством мастера, всегда стремящимся впитывать новое.

2

— Ну, пожалуйста, — окликнул их Лыков. Он отпер дверь в стене и, оглядываясь по сторонам, пригласил Васнецова и Ларкина внутрь.

— Осторожней, осторожней, — бормотал Лыков, когда все трое проникли будто в запечатанный шкаф. Лыков включил электричество и прикрыл наглухо дверь. Шум дефибреров примолк. Он колыхался в окрашенной черным камере, как мягкий небеспокоящий ветер. Голоса людей сразу окрепли. Но именно поэтому все трое заговорили вполголоса.

— Так, так, так, а составы ты взяла?

— Вот в стаканчиках, — ответил Лыков Васнецову. — Я прихватил и древесный раствор, и целлулозный. Я уже пробовал, — не утерпел он признаться.

— Как же ты смел без меня?

Они смотрели друг на друга с улыбкой. Только Ларкин оставался серьезным. Он вглядывался в неизвестный прибор, черный корпус которого сверкал на столе металлическим панцырем.

— Фонарь! — сказал Ларкин, отводя прибору место в сознании. Но фонарь это не все. И Ларкин внимательно ждал.

В сущности, несмотря на присутствующее всегда на его лице удивление, Ларкин не удивлялся совсем. Он истратил весь запас удивления в тот момент, когда впервые был введен на одну из бумажных фабрик в числе нескольких командированных для обучения карельских крестьян. Возможно, даже раньше удивился он окончательно, когда, расставаясь с красноармейской службой, на вопрос командира, нет ли желающих отправиться на производство, он, не подумав, откликнулся и тем переломил свою участь. С тех пор происходящее с ним не будило в нем колебаний. В нем гнездилась уверенность, что он осмыслит и данный фонарь, конечно, в том случае, если он Ларкину нужен. Как же его зажигают? Фонарь вспыхнул замечательно ярко.

Вольтову дугу Ларкин не встречал в своей практике. Но и это явление пришлось по вкусу ему. Лыков затушил электричество, и фонарь сквозь коленчатый ствол черной трубки выкинул голубоватый и шипящий столбик расходящегося света на укрепленное на стене полотно. Свет прилип к полотну белым кругом. Лыков взял один из стаканчиков, придавил его крышкой с резиновой кишкой, уходящей внутрь фонаря. Нажимая на резиновую грушу, он перекачивал жидкость из стаканчика в фонарь так, что свет проходил сквозь нее. И тогда увеличенное отражение жидкости зашевелилось в белом кругу пузырьками и пятнами.

Жидкость не была чистой, и Ларкин узнал ее тотчас. В ней плавал помол, как плавал он много раз перед глазами Ларкина в синей стеклянной ванночке. Ларкин узнал эти мутные хлопья, но на полотне они были большими. Они ездили, останавливались, смыкались, уступали место друг другу. Ларкин обрадовался встрече со знакомым древесным составом, выехавшим на экран. Здесь этот состав обнаруживал все свои качества.

„Короткое волокно“, мыслил Ларкин, Значит, слишком сухое дерево идет в дефибрер. Значит, надо его обильнее смачивать. Много спичек“. Впрочем, на полотне спички толкались, как черные бревна. Они требовали другого наименования. И помимо внушительных жирных линий Ларкин видел иные, более тонкие. Те, которых различить на синем стекле ему бы никак не пришлось. — Короткое волокно, — сказал Ларкин.

Васнецов быстро взглянул на него. Васнецова обрадовало, что Ларкин узнал содержание помблы и не только узнал, но уже делает выводы, то есть работает уже с аппаратом, вводит его в повседневную практику. Он был благодарен Ларкину за то, что тот оценил аппарат. И в то же время почувствовал, что иного и не ждал от него.

— Ты только помни, — словно опережая мысли Ларкина, строго заметил Васнецов, — ты этим не увлекайся. Это надо пускать в важных случаях.

Ларкин молча кивнул. Строгий тон не обидел его. Он понял, что Васнецов уже верил ему аппарат, и принял подарок с полной ответственностью.

— Лыков тебе все покажет, — подтвердил Васнецов и вскочил со скамейки. — Драгоценная вещь. И стояла без дела. Ах, чорт! А ну, Володя, теперь целлюлозу.

Лыков переменял стаканчик, и картина на экране сместилась. Задрожал помол целлюлозы теневой провратной сеткой. Волокна вытягивались, как длинные и пушистые тростники. Пузырьки воды — подвижные и пустые внутри шарики — облепляли их, или скатывались, или раздавливались о гнутые прутья. Недостаточно разделенные, разработанные части помола сгущались в грязноватые острова. Все это текло, шевелилось, подсакивало, когда Лыков нажимал грушу.

— А ведь хорошо! — сказал Васнецов. — Ведь красиво выходит, товарищи?

И оба, Ларкин и Лыков, с ним согласились:

— Да.

Васнецов выскочил из кабинки взбудораженный и довольный. Но, выскочив, остановился. Он всегда заставлял себя сдерживать внешние проявления чувств. В этом не было и тени желания казаться не тем, что он есть. Но он знал — и горе, и радость врезаются в него слишком резко, производят в нем стремительный, все опрокидывающий беспорядок. Наоборот, во время ограниченные, они погружаются вглубь и, как бы сосредоточившись в организме, плодотворно присоединяются к мыслям. Опыт подсказывал Васнецову, что чувства надо выращивать правильно. Приручать их и править ими, а не слушаться их приказаний. Васнецов знал, его ум окружен пучиной фантазий. И старался не распускаться. Об этом никто не догадывался. Кроме Нины, конечно.

Нина быстро пересекала цех. Это был все тот же цех с бетонными подковами бассейнов, малолюдный и рокошущий, будто машины, оставленные наедине, непрестанно волнуются, жалуются и доказывают что-то протестующее одновременно, не слушая одна другую, цех, где за темножелтой перегородкой помещался кабинет Веснецова.

Коленкоровый синий халат, перехваченный пояском, кругло охватывал Нину, и казалось, что она облечена в два мешка — от шеи до талии и от талии ниже колен. Но и эти свободные мешки, уничтожая очертания ее тела, не выглядели неуклюже и раскладывались при каждом шаге затейливыми подвижными складками, придавая Нине что-то веселое. Хотя выглядела она серьезной, будто разглядывающей протянутые перед глазами заботы. И от этого шла слегка сгорбившись, и лицо ее, тронутое легким румянцем, казалось сейчас пропитанным тенью, осунувшимся и уменьшившимся. Ее голова, стриженная в кружок, с круглой дымчатой прядью волос, распадающейся при движении, сползающей все больше с виска на лоб, как волнистый сколь-

зящий занавес, была отнесена назад. Прядь сдвигалась все ниже, к самому глазу, и Нина коротким толчком присоединила ее к остальной массе волос, растворила ее в этой массе. Тут она обернулась и заметила Васнецова, и тот, как всегда, увидел только глаза ее, широко и ясно несущиеся ему навстречу, стремящиеся достичь его прежде, чем приблизится Нина настолько, чтобы подать ему руку. Но Нина подошла и сама и, стоя перед Васнецовым, оказалась значительно меньше, чем выглядела на расстоянии. Она действительно взяла его руку в свои и потом отпустила, и Васнецов, не успевший привыкнуть к ее прикосновениям за их короткую совместную жизнь, почувствовал тепло, проникающее его кожу, и что Нина беглым пожатием словно подтверждает что-то известное только им двоим, словно вручает себя еще раз ему, Васнецову.

Васнецов знал, что Нина, работавшая в лаборатории, приходила на фабрику, чтобы провести занятия по математике с желающими из освободившейся смены. Он собрался спросить о протекшем уроке и заодно распространиться о только что состоявшихся опытах. Но Нина, наклонив голову на бок и заглядывая в лицо Васнецову, первая обратилась к нему:

— Знаешь, Шура, творятся странные вещи. Мне кажется, Аркадий приехал.

Нина отводила глаза и взглядывала снова, и казалось — она то придвигает к себе Васнецова, то его отдаляет. Ее лицо попеременно преображалось то улыбками, то озабоченностью, и от чередования противоположных выражений, из которых ни одно не удерживалось устойчиво, выглядело растерянным.

— Что ты говоришь? Откуда же он?

Васнецов понял, что говорит пустяки. Дело вовсе не в том, откуда приехал Аркадий. Он мог появиться из любой точки пространства и как бы не называлась она, она была местом, где возникают осложнения, как на горизонте есть места, откуда выносятся тучи. С чем

бы не приехал Аркадий, это означало возвращение времени вспять, туда, где господствовали напряженность и путаница. Такой приезд уничтожал завоеванную столь недавно, еще никак не освоенную возможность покоя хоть в этом районе личных обстоятельств у Васнецова и Нины. И вдобавок теперь, когда в остальных областях все еще не распаковано, не расставлено по местам и требует ежеминутных усилий.

— Я ничего не понимаю. Кто его знает, Шура. Может, мне показалось. Я забежала перед уроком домой. Выхожу, смотрю по мосткам кто-то уходит. Знаешь, туда, в сторону гостиницы. — Нина съежилась и потеряла руку о руку. — Кто его знает. Очень похож. Во всяком случае, ужасно похож. Я так и остановилась. У меня мелькнула мысль пойти за ним вслед. Да он уже далеко, а у меня времени не было. И потом я не решилась.

Васнецов взял ее за локоть и тихо повел по направлению к своему кабинету.

— Так, — сказал он, — так. А что на уроке?

— Ничего. Все, как всегда.

Сквозь квадратики тоненьких стекол, вставленных в перегородку, Васнецов различил, что в кабинете сидят. Лиц было не разобрать, люди повернуты спинами. Во всяком случае там нельзя продолжать обсуждение. Да, в сущности, преждевременно беседовать дальше. Васнецов отпустил Нинину руку. Нина опять остановилась перед ним, внимательно взглядывая широко разрезанными с золотистым отливом глазами.

— Ты когда домой? — спросила она.

— Скоро. То есть... — Васнецов запнулся. Он обвел взглядом цех, будто отрывая лицо от Нины, будто приподнимаясь над ней, над собой, над всем, что содержал их разговор, и цех, заслоненный на время их совместной озабоченностью, обнаружился снова и требовательно охватил Васнецова.

— Хорошо, — сказала Нина, словно различив его мысли. — Хорошо. Приходи, когда освободишься.

В кабинете находился Зеленский. Он листал записную книжку быстрыми тонкими пальцами. Он перебрасывал страницы, будто стараясь выдрать из них ценные и спешные указания. Пролистав до переплета, он пустился в обратное странствование. Вряд ли он думал о записях.

За другим небольшим столиком расселся отсекр коллектива Мальчишкин. Еще молодой, медлительный, склонный к полноте, казалось, набродившись по фабрике, разрешил он себе передышку. Он словно сознательно переживал спокойное состояние своего тела и если иногда поворачивался, то возможно лишь для того, чтоб найти более удобную позицию для отдыха. Лишь глаза его на круглом, белом и рыхлом лице, небольшие и точные, одни продолжали работать, оценивать и размышлять. Взгляды выскальзывали из-под тяжелых век и, обмерив Зеленского, заволакивались равнодушием до тех пор, пока Мальчишкин не высылал их вторично за какой-то неусмотренной до конца подробностью в наблюдаемом человеке.

Разговора не происходило, и по обликам обоих присутствующих нельзя заключить, давно ли они пребывают совместно, соединило ли их общее дело или каждый существует отдельно.

Был тот час, когда день переламывается и начинает едва ощутимо съезжать в сторону вечера. Васнецов, войдя, поздоровался. Зеленский взмахнул рукой, выражая приветствие, и опять перебросил ряд листов своей книжки.

Васнецов сел за стол и оперся локтями о доску.

Сбоку от него за стеклянной перегородкой находился такой же точно кабинет заведующего древесно-массным отделом. В Ломже не было такого заведующего. Именно в данной должности состоял Лыков. Лыкова не было в кабинете. Сквозь стеклянную перегородку,

сквозь окна кабинета Лыкова до Васнецова достигал замутненный, несколько обесцвеченный, казавшийся очень далеким, очень посторонним, не имеющим отношения к фабрике сероватый пейзаж. Главной частью его являлась плоская поверхность неподвижного озера. Васнецов еще ни разу не проникал на его берег, и продолговатый, суживающийся язык залива, постоянно присоединяясь издали к окрестностям рабочего дня Васнецова, был для него единственным неназойливым представителем огромного водного склада, прислоненного к Ломже. Озеру не удавалось сохранить здесь присущий ему на просторе празднично-синий цвет. Даже в данном случае, когда солнце упиралось о его поверхность, залив лежал тусклым металлическим листом, лишь в местах встречи с лучами накаленным до белизны серебра. На заливе стоял круглый остров, опоясанный связкой кустарников. И дальше, на противоположном берегу, будто палатки, уже слабо различаемые, почти рассеившиеся в воздухе, висели зеленые рощи. Ближе к фабрике, на этом краю залива, как деревянные волны, застыли крыши поселка. И две круглые башни — островерхие и прямые — колокольня и купольный барабан древней ломжинской церкви. Весь этот искусственно выделенный окном отрезок пространства с его воздухом, водою, строениями Васнецов привык находить ежедневно по соседству с бумагами, разложенными на столе. Васнецов не вкладывал в него никаких размышлений, но все-таки прежде всего проверял сохранность пейзажа и затем, оттолкнувшись от его устойчивых форм, приступал к рассмотрению очередных забот.

Так произошло и теперь, с той разницей, что, возможно, от взволнованности Васнецова, слабые ощущения какого-то личного участия в состоянии этого пейзажа вдруг проступили в его сознании. Например, эта церковь, очень давняя церковь, и вот она после многолетнего нерушимого бытия доносится световыми лучами внутрь здания фабрики. Никаких ясных соображений

еще не различил Васнецов, никакие выводы не успели вторгнуться в его мысли. Мышление зарегистрировало два полярных объекта — церковь и фабрику, еще не протянув между ними связующих нитей. Но оттого, что они стали рядом, встретились в восприятии Васнецова, стало ясно — мысли не могут не вспыхнуть, как должна вспыхнуть искра от удара кремня о камень. Впрочем, прежде чем Васнецов отвел взгляд от окна, Зеленский подтянулся всем телом к столу:

— Разрешите, товарищ.

— В чем дело? — спросил Васнецов.

Мальчишкин громко вздохнул. Он огляделся с таким выражением, точно впервые застал перед собой обоих присутствующих. Но, застав, не нашел в них ничего примечательного. Зеленский оглянулся на Мальчишкина и, не уловив ни поддержки, ни осуждения, решил приступить за свой страх и риск.

— Дело в том, что нам стало известно, нам, бригаде, известно, что на фабрике в числе прочего оборудования есть очень ценный прибор. Ценный и бесполезный, — сразу заторопился Зеленский. — То есть бесполезный именно в условиях фабрики.

— Откуда вам стало известно? — перебил Васнецов.

— Откуда?... Да не все ли равно?

— Как не все ли равно? — вспыхнул Васнецов, но сдержался. — Я вас спрашиваю потому, что, если прибор вам интересен, я бы мог вам его показать сам и объяснить, полезен он или нет.

— Это второстепенный вопрос. Мы достаточно в курсе прибора.

— Вы не станете отрицать, что прибор валялся без дела.

— Верно, — сказал Васнецов.

— У отдельных работников фабрики, видимо еще до вашего приезда сюда, явилась мысль передать прибор центру. Очевидно, еще до вашего приезда была послана бумага в Москву. Бригада, рассмотрев вопрос, полагает, что вопрос стоит правильно. И поддерживает эту мысль.

Так что здесь все согласовано. Мы хотели бы знать ваше мнение.

— А зачем это нужно вам?

— То есть как?

— Ведь у вас же все согласовано. Слышишь, Мальчишкин? На что им сдалось мое мнение? Принципиально все решено?

— Собственно, да. Принципиально все ясно.

— А не нужно ли вам снять один дефибрер и отправить в Москву? У нас дефибреры новейшей конструкции. Или новый резиновый вал. Кстати, лучше б о вале бригада побеспокоилась, чтоб нам медный скорее прислали.

— Нам о вале ничего неизвестно, — насупившись, отрезал Зеленский.

— Очень жаль.

— Вы все шутите, товарищ Васнецов. Речь идет не о дефибрерах. А насчет прибора мы спрашиваем.

— Я мнения своего не скрываю. Прибор здесь необходим. Особенно в данное время, когда мы контролируем массу. А так как все шло у меня за спиной, я требую от бригады, чтоб она сообщила мне, кто писал в центр, и со своей стороны известила бы центр, что предложение было послано вздорное. Некомпетентными людьми. — От бригады ничего нельзя требовать! — взорвался Зеленский. — И бригада постановила прибор с фабрики снять.

— Тогда и меня прошу снять!

Оба поднялись с мест.

Тут шевельнулся Мальчишкин.

— Так нельзя, Васнецов, — произнес он рассудительно: — тебя снять, меня снять. Кто же будет работать?

Васнецов оглянулся. Озеро, кромка лесов, колокольня прокатились перед глазами.

— Мы работников так не снимаем, — зашептал, задыхаясь, Зеленский. — Снять это очень уж просто. Снять всегда мы успеем. Мы работников заставляем работать. У нас средства найдутся.

Васнецов сразу не понял. Оборот был слишком решителен. Но когда слова Зеленского вспыхнули в его сознании, как ряд электрических лампочек, Васнецов словно спрыгнул с лестницы, на мгновение потеряв равновесие.

— Чепуха! — закричал он. — Что ж я из страха работаю? Что вы средствами угрожаете?

— Это дерзость! Это мы разберем! — Зеленский давился словами и размахивал в воздухе книжкой. Но дальнейшее мелькнуло в глазах Васнецова, как нерасчлененный поток звуков и слов, потому что он быстро шагнул и, сдвигая все относящееся к Зеленскому в сторону, выбежал из кабинета.

5

Первым намерением Васнецова было тотчас встретить Садовникова. Только от него могло проистечь все высказанное Зеленским. Васнецов не улавливал причин, руководящих Садовниковым. Места на фабрике было достаточно, чтоб обоим разместить свою деятельность. В поведении Садовникова не сквозило ни плана, ни смысла.

Он прошел первые шаги инстинктивно, ведомый еще неиспользованным до конца раздражением. Опустив голову, он рассекал цех и, казалось, должен удариться в стену. Но тяжелый и сложный шум, заполняющий воздух, сопротивлялся его продвижению. Скорость шагов замедлялась, будто от трения воздушной среды. Васнецов заметил, что он останавливается.

Вместе с тем останавливалось и его возмущение. Облако гнева, окружающее Васнецова, расступилось настолько, что он мог видеть предметы. Что ему, собственно, надо, Садовникову?

И, конечно, прибор, злополучный прибор, разрешает ли он все затруднения? Разумеется, нет, разу-

меется, он лишь облегчает расследование свойств состава. Но Васнецов совсем не уверен, что в центре пребывание прибора полезнее. Если б могли убедить Васнецова. И неизвестно, хватит ли доводов. В крайнем случае могла б состояться дискуссия. На подобное непредвзятое расследование вопроса Васнецов согласился б охотно. Но решение, изготовленное помимо него. Это вздор и бестактность. И к тому же Васнецову казалось, что Садовников не столько движим стремлением извлечь из прибора высшую полезность, сколько важно ему раздражить Васнецова, вызвать на глупый поступок.

— Ах, какой я дурак! — сказал Васнецов.

Садовников своего добился. Как я глуп! И теперь осложнения с бригадой. Разве встретиться с Бахом? Но и Бах не отчетлив. У Баха свои не вполне понятные цели.

Вечерело, и в цехе настаивались, как чай, коричневые крепкие сумерки. Было видно, как из кабинета вышли Зеленский с Мальчишкиным. Зеленский заметил Васнецова, но тотчас же отдернул лицо. Он трогал за локоть Мальчишкина и что-то ему сообщал. Вероятно, обсуждает случившееся и еще переполнен волнением. И оттого что Васнецов уже овладел спокойствием, он почувствовал себя сильнее Зеленского. Но это не принесло ему радости. Вызванные столкновением следствия все равно разойдутся по Ломже. Встречи с ними не избежать.

И вдобавок собрание вечером в клубе, где бригаде предстоит выступать.

Вечерело. День постепенно выселялся из помещения цеха. Данный цех не богат стеклом. Две наиболее длинные стены его глухи, и день потому ослабевал здесь раньше всего.

Помимо подковообразных бассейнов вдоль одной из стен протянулся широкий балкон. Там стоял ряд очистителей, окончательно просеивающих древесную массу. Это был постоянный оркестр дружно подобранных роко-

тов. Балкон на четырехугольных, забеленных известью колоннах. Ничего лишнего, развлекающего, ластящего глазу не было в его бетонном и чистом профиле. Прямая белая лестница скрепляла его с полом цеха. Выбеленный барьер балкона меловой чертой разделял медленно наслаивающиеся сумерки, позволял им застывать сверху и снизу, но сам оставался ими нетронутым. И лестница, и балкон выглядели в сумерках более легкими. В этом проявлялась их единственная уступка вечеру.

И теперь, как и после разговора с Ниной, Васнецов словно обратился с вопросом к обширному пустоватому залу, где несколько фигур нагибались над бассейнами, трудно размешивая целлулозное вариво. И цех сохранил на некоторое время свою громкую неподвижность, а потом, когда казалось все сроки для ответа пропущены, выслал Васнецову челевеческий образ. Он оказался Панаевым. Панаев спустился с балкона по лестнице и, оторвавшись от сумрака, который ее окружал, не спеша подошел к Васнецову. Васнецову было не до разговоров. Но Панаев столь решительно стал перед ним, закрыв собою все поле зрения, что Васнецов взглянул на него с удивлением. Панаев дотронулся до своей маленькой кепки, не охватывавшей головы и положенной на макушку, и сказал, как всегда неожиданно тихо, будто сберегая дыхание:

— Я думаю, можно попробовать.

— Что такое? — спросил Васнецов, позабыв, что эту же фразу он уже принял от Панаева, правда с менее определенной интонацией, сегодня, когда застал Панаева с Северсом.

— Скорость поднять попробовать.

Васнецов припомнил дневной разговор и его удивило, что в продолжении стольких часов Панаев переносил с места на место по фабрике одну и ту же некрошащуюся огнеупорную мысль. И снова притащил ее к Васнецову. Как грузчик, уставший от клади, Панаев дышал тяжело. Его взгляд вдавливался в лицо Васнецова. Но

в остальном неподвижные черты его, слабо поддающиеся воздействию мыслей и чувств, будто из засохшей глины, форму которой не легко изменить, выглядели почти равнодушными. Васнецов взглянул на Панаева и отвернулся, чтоб собраться с мыслями. Панаев нажимал на него своей сгущенной решимостью.

— Я бассейны смотрел. Массы достаточно.

— Хорошо. Только попробовать. Если будут разрывы, сейчас же замедлить опять. Я еще не ручаюсь за массу.

Панаев не слушал дальнейшего. Согласие Васнецова сразу сдвинуло его с места. Он шагнул в сторону бумажного зала, Васнецов шел за ним. Оба двигались, не смотря друг на друга.

6

До сих пор за время существования фабрики бумажную машину пускали так, что скорость сетки едва доходила до 175 метров в минуту. Опасались, что не выдержит масса, что сушильная часть не справится с поступающей быстро бумагой. Опасались, что массы нехватит из-за неравномерной подачи баланса. Наконец, сомневались, в какой степени прочна конструкция самой машины и как вынесет скорость двигатель. При общей несцепленности, непроверенности частей производства опасения были вполне правильны. Однако, паспорт машины позволял ускорять до 250 метров в минуту. А укрепленный на стене счетчик скорости содержал деления даже до 275. Васнецов понимал — при благоприятных условиях можно даже превысить паспортом данный предел. Васнецов решил, что он это сделает. Машина являлась выносливым образцом продуманной, вышколенной конструкции. Но он знал, — на фабрике привыкли к пониженной скорости. Неудачная проба сильно собьет настроение.

Васнецов шел за Панаевым, повторяя себе, что на этот раз проба должна быть короткой. Воздух бумаж-

ного зала, всегда вытянутый в длину, скользящий параллельно машине, подхватил и его, и Панаева. Васнецов взошел на помост, окаймляющий сетку. Он наклонился над ее глянцевой разграфленной поверхностью, sprыснутой на всем протяжении молочными струями массы. „Дурацкое производство, — шутило мелькнуло у него в голове, — сперва разбавляют протертую целлулозу и ель, а потом сгущают их снова“. Он смотрел в сетку, как в жидкое вибрирующее зеркало. Он проверял, равномерно ли закисает уносимая сеткой светлая влага в сметанные полосы свежей бумаги.

Панаев шагал, отделившись от Васнецова. Он соприкасался то с одной, то с другой группой рабочих, предупреждая их о предстоящих действиях. По мере его продвижения, люди выпрямлялись, подтягивались. Беспечность соскальзывала с лиц, недокуренные папиросы летели в круглую урну. Панаев влек за собой атмосферу серьезности. Даже тоненькая уборщица Паня замерла, охватив руками метлу, улавливая, что наступает важный момент.

Так Панаев дошел до конца цеха, где, шипя, перематывалась просушенная незапятнанная бумага с одного вала на другой. Постояв, он отправился круто назад. Волнение распирало его изнутри, как сжатый воздух стенки цилиндра. Теперь он ни на кого не смотрел. Но даже походка сделалась несколько легче, даже лицо слегка помолодело, пропитанное вдохновением. Он двигался будто во сне.

Его целью была рукоять регулятора скорости, укрепленная на стене под белым циферблатом счетчика, где маленькая прыгающая стрелка, упираясь в деления, называла эту скорость по имени. Панаев наступил на подмости, расположенные под циферблатом. И только потому, как сбежались морщины на его сером лице, Васнецов понял, что Панаев нажал регулятор.

Стрелка, прилипшая к 175, колеблется и нерешительно переступает вверх по делениям. Она допол-

зает до 180, потом легким толчком сразу ложится на 200.

И тотчас стало легко. Васнецов перевел дыхание. В сущности, не изменилось ничего. Между прежним и новым состоянием сетки, казалось, не было разницы. Ее плавный протяжный полет продолжался вдаль без изъяснов. Все облегченно вздохнули. Машина вращалась попрежнему. Стрелка примерзла к двумстам.

И Панаев стоял совсем будничным. Очевидно закончился опыт. И стоило ли так беспокоиться? Обращаться с новой скоростью просто. Пробежав еще несколько минут на постах, рабочие отойдут от машины, как обычно, когда нет разрывов и ничто не требует спешных забот.

Васнецов перевел дыхание. Внимание его ослабело. И уже дальнейшие мысли присоединились к наблюдению над поверхностью сетки, а именно, что во всяком случае данная скорость вполне безопасна, хотя, конечно, следует выверить ее на протяжении смены, и, чтоб не отставала нагрузка дефибрера, следует спуститься в древесно-массный отдел и снабдить указаниями Лыкова. Подобные соображения успокоительно расстилал Васнецов вдоль мгlistой белизны молочного зеркала, когда в уши его проник легонький звон. Он не принял его в расчет, но звон окреп и стал выше по звуку. Одновременно привычный шум, порождаемый всеми расчленениями машины, стал массивнее, сплошнее и гуще. Он приобрел особую слитность и цельность, удивительную непрерывность, и звон проходил сквозь него, как сверкающая тонкая проволока. И тогда же опоздавшее зрение отметило: сетка словно остановилась, превратившись в ослепительно натянутый холст, и остановились прилежавшие к сетке валы, обтянутые влажной бумагой, как светлой, невероятно-напрягшейся резиной, — остановились или, наоборот, понеслись с неулавливаемой наглаз быстротой. Васнецов обернулся к Панаеву и, прежде, чем взглянуть на циферблат, по застывшему, обращен-

ному внутрь взгляду мастера, потому, как стоял он приподнявшись на цыпочки, вытянувшись, весь олицетворенье внимания, готовый спрыгнуть с подмосток и одним скачком спуститься на место, где произошла бы заминка, Васнецов определил положение. Стрелка подтвердила догадку. Стрелка загнулась так, что лицо циферблата выглядело неузнаваемым. Стрелка прошла свой путь до конца, она упиралась в 275. Это заметил не только Васнецов. Непонятным образом представление о крайней быстроте, как по проводу, включилось во всех рабочих. Даже в тех, которые никак не могли сами разглядеть циферблат. Весь цех сотрясался, дрожа, как курьерский состав. Толстые валы сушильной и холодильной частей, обычно медленно трущиеся друг о друга, вращались, как бы потеряв свою тяжесть. Непонятным образом представление о достигнутом завоевало и остальные цеха. Вот появились фигуры из рольного, вот вбежал Лыков, вот вошли дефибрерщики. Из разных отделов, помещений, участков неизвестно как разносящаяся весть вытряхивала людей и гнала их убедиться. Они что-то кричали, жестикулировали, но из-за грохота слова были бесполезной затеей. Люди окружали Панаева, парившего на помосте над ними, еще держащегося за регулятор, хотя тот уже сыграл свою роль, и ускорить больше машину нельзя.

И в цеху обнаружился Сиверс. Как успел он узнать и откуда взялся на фабрике? Но представлялось естественным, что в подобный момент он присутствует. Чутье притянуло его и поставило перед Панаевым. Ему уступили дорогу. В мягкой шляпе и руки в карманах, не согласный ничему удивляться. Он взглянул на Панаева, словно проверяя, в каком тот состоянии. Ни порицания ни одобрения на его суховатом лице. Затем он обратился к машине. Будто вцепился глазами. И опять ни жестом, ни словом не выразил своего отношения.

Панаев смотрел на Васнецова. Васнецов видел только Панаева. Панаев улыбнулся щедрой, вдруг украсив-

шей его, богатой улыбкой. Васнецов кивнул ему, одобряя.

Трудно было сказать, сколько времени осуществлялось это господство побеждающей скорости в цехе. Но тут наступила заминка.

Собственно — дело не страшное. Не зависящее от хода машины. Лист лопнул на сушильных цилиндрах и мгновенно клочья его перекинулись дальше, взметенные валами на самую вершину сооружения. Клочья вспорхнули, словно выдутые наверх натиском шума. Беспомощные, робкие и неожиданные, почти непонятные среди монументального грохота. Они выпрыгнули, словно крик пронзительный и тонкий из огромного горла машины. Или как языки белого рваного пламени, свертывающегося на ветру. Они упали обратно на крутящуюся поверхность валов и, мигом втянутые внутрь, в сушильную часть, выпрямились и утонули. И тотчас же из всех щелей, как непрожеванная пища, стали выдавливаться рыхлые ленты бумаги. И все-таки дело не страшное. Разрыв возможен в любом состоянии. Но при общем вздернутом настроении он воспринялся, как резкая трещина.

Панаев повернулся, как на винте.

— За-пра-вить! — закричал он, вдруг вынося наружу оказавшийся громким обычно спрятанный голос.

И цех перетянут свистками. Бежали с насосами, скакали по лестницам, кувыркались на мостиках. Даже уборщица Пая согнулась, как от толчка, и сдвинула вагонетку, чтобы вкопаться в наросшие мигом холмы сырого бумажного лома.

И все-таки, не будь общей взвинченности, это было бы не страшное дело. Но сейчас Васнецов уловил чрезмерную спешку движений, запутанность, несогласованность, затягивающую устранение препятствий. Как не сшивали дыру, бумага расплзалась по швам. Несмотря на ожесточение, с которым люди бросались в атаку. Ожесточение нарушало порядок. Люди мешали друг другу.

Зрители впутывались в беспокойство.

Васнецов подбежал к регулятору и отодвинул Панаева. Панаев очнулся и рысью пронесся по цеху. Он схватил сам воздушный насос и хлестнул струей по валам. Стрелка стала тихо клониться. С уверенной плавностью Васнецов возвратил машине ее обычную скорость.

Когда бумагу заправили и цех вошел в берега, Панаев выбрался из-за машины. Он успел обежать всю установку. Без кепки, вспотевший, он двинулся на Васнецова. В нем еще докипало возбуждение, хотя, угрюмость снова затвердевала в лице. Он хотел поделиться толпившимися в нем чувствами, но не мог превратить их в слова. Он дышал тяжело.

— Хорошо, — сказал Васнецов. — На двести можно ставить спокойно.

— Поставим на больше, — вздохнул шумно Панаев.

— И на больше поставим, — подтвердил Васнецов.

И тогда Панаев не выдержал. Он опять улыбнулся и, обводя цех горячими гордыми глазами, неожиданно по-мальчишески выкрикнул:

— А все-таки я первый добрался!

— Смотри, не слети, — смеясь, сказал Васнецов.

Сиверс молча и прямо, не намеренный ускорять шаги, миновал разговаривающих и вышел из цеха.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Этот день у Кускова развивался в заботах. Побывав в конторе, посетив заведующего хозяйством, Кусков запасася направлением в гостиницу. Перенес чемодан, в одиночестве расположился. За передвижениями, ожиданиями и устройствами половина дня истекла. Теперь все разлеглось по местам.

У Кускова в наличии: местожительство, постоянный пропуск на фабрику, в клеенчатой обложке тетрадь. Он извлек полотенце и мыльницу, укрепил полотенце на гвоздике. Умылся, почистил костюм.хлопоты умиренны. Предстояла собственно жизнь.

Самым естественным было начать рассмотрение фабрики. Познакомиться с местной редакцией, раздобыть нужные сведения. Кусков выезжал не впервые и знал, как входят в работу.

Он сел у непрочного столика — высокий, немного сутулящийся. С продолговатым темным лицом, с не густой темной прической, преждевременно изъеденной проседью.

Он рассматривал свои руки, только что вымытые, с длинными безвольными пальцами, руки человека, далекого от физического труда, которые он привык видеть двигающимися перед собой на косо уложенных светлых бумажных листах. Он вдвинул пальцы в пальцы и развел их опять. Ощущение не то жалости к себе, не то беспричинного страха медленно заполняло его.

Вот он сидит здесь один, в этом нет ничего необычного. В последний год он много ездил. И в незнакомой точке земли — тут что-то есть беспокоящее. Точка земли. Кусков замечал, что, чем дальше, тем больше его затрудняют подчас совершенно простые понятия.

Достаточно произнести слово земля, или небо, или что-нибудь смежное с этим, например — царство растений, — ведь это ж действительно жутко, что за чуждое всюду нас стерегущее царство! — стоило выделить подобное слово из речи, и Кусков перед ним останавливался. Земля — несколько букв, расставленных в случайном порядке. Их можно рассыпать, собрать в иных сочетаниях. Люди верят, что, выбросив несколько звуков из горла, тем самым все объяснили. Хорошо, пусть оно и зовется земля, разве оно помещается в звуках? Разве звуки — глаза, разве ими рассмотришь предметы? Звуки пройдут и исчезнут, а оно остается само по себе. Кусков находится в точке земли. Что же это собственно значит?

И в подобных случаях Кускову хотелось укрыться, спрятаться с головой в чьих-то добрых коленях. Образы прокатывались, как чугунные ядра по обнаженному мозгу. Черепная коробка становилась мягкой, как пленка, голова начинала болеть.

Разумеется, не всегда Кусков так отзывался на окружающее. В противном случае он давно бы ходил в сумасшедших. Нет, Кусков был нормален. Только несколько нервен. Рядовой человек без чрезвычайных примет. Он имел склонность к писательству. Кое-что достигало печати. Ему надо закончить рассказ. Он приехал добывать материал.

И даже, когда его притесняли раздумья, поведение Кускова внешне отнюдь не менялось.

Он мог выполнять без задержек все, что поручал ему день. Выбирался на улицы, привычно толкался в редакциях. Убеждался, что в городе ни один из предметов не утратил своего назначения. Город тре-

щит, как будильник. Можно забраться в трамвай, и устойчивый коридор вагона будет сдвигаться по уложенным прочно рельсам. Хорошо, что все направления в городе обстоятельно пронумерованы. Хорошо, что автомобили вдруг прилипают к асфальтированным скатертам мостовых, когда красным яйцом вдруг повиснет выпуклый сигнал светофора. И разом здуваются с места, когда убрано запрещение и зеленая скорлупа нальется стеклянными сиянием. Два встречных потока людей с легким трением ползут один мимо другого. Может, в ином из идущих вспыхивают напрасные, вздорные образы. Что ж? Они здесь бессильны. Ими не преградишь гулкую тягу трамваев. Город выравнивает мысли, направляет их по прямым, кратчайшим путям. „Переходи только здесь“, „Не стой на путях“, приказывает он сознанию.

Да мало ли способов успокоения? Концерты, знакомые, книги. Можно безвредно пьянствовать, вдумчиво перекинуться в карты. Среди друзей немало любителей. Преимущественно в тесной комнате (просторными обладали немногие), с ограниченным количеством воздуха, с небольшим запасом высказываний, — можно выйти из времени, подчинившись нормам игры. Карты нравились своей полной искусственностью, полной выключенностью из природного и человеческого, но при всей их независимости они все же волнуют, как особое химически чистое проявление законов судьбы. Здесь была для Кускова иллюзия побед, достижений, теневая цепь неудач, сопровождающихся теневыми надеждами. Эта выдуманная судьба подчас выглядела значительней настоящей. И даже на утро после игры мозг набит не вчерашними хлопотами, а колеблющимися пятнами, расплывчатыми гирляндами фигур и рисунков, и сочное, но настойчивое чередование их заменяет чередование мыслей.

Но главное успокоение исходило от существования жены, Кусков был женат уже несколько лет. В частых

разъездах последнего времени он отвлекался от дома. Письма редко писались, не всегда доходили ответы. Случалось, в течение месяца один телефонный разговор между Москвой и Ленинградом придвигал жену вплотную к Кускову. Женский голос, донесенный через сотни километров, чуть искаженный жужжанием тока. И Кускову казалось, что он держит в руке если не всю — живую, хотя и невидимую, доставленную ему из далекого города женщину, то, может быть, лучшую часть ее, самые светлые свойства ее существа, воплощенные в этих слегка поврежденных расстоянием звуках. И важно помнить, что во всяком случае во власти Кускова в любое время вызывать из расходящихся радиусами пространств всегда узнающий его, всегда ожидающий, обращенный к нему с приветствиями голос.

Приезжая домой, Кусков не тратил внимания на достаточно определившуюся, не склонную изменяться домашнюю обстановку. Жена жила с родственниками в застарелой, заставленной издавна квартире. Все привычно служило. Кусков видел мало жену. Помимо работы на фабрике, ее отвлекали собрания, всевозможные сверхурочные, крошившие ее свободное время. Часто она возвращалась поздно, когда Кусков отправлялся к знакомым. Но у Кускова и не было потребности в спешном неотступном общении. Первая влюбленность давно превратилась в неищущее подтверждений согласие. Будто вино, утратив крепость и цвет, стало ясной водой, причем вода так прозрачно-спокойна, что не всегда ее и рассмотришь.

К тому же Кусков не страдал разговорчивостью.

И однако, была ли жена рядом или поодаль, от нее распространялось спокойствие. Богатый, постоянно возобновляемый запас улыбок, способность мимоходом прикоснуться к лицу или плечу Кускова, или просто пройти мимо по комнате, как бы взбаламутив весь воздух скрытой вибрирующей жизнерадостностью — все это разгружало Кускова от излишков угрюмости, рас-

творяло сосредоточенность, оставляя в его душе тихую пустоту.

Боязни, обступавшие Кускова, вдруг откатывались за горизонт и не потому, что жена сама была храброй. Наоборот, она, смеясь, признавалась, что наиболее соответствовала ей шутливая молитва, однажды услышанная на улице: „подай бог смелости на робкую душу“, и вместе с тем она шла через дни напрямик, полная недоказуемой уверенности, что все к ней дружелюбно и ее никто не решится обидеть. Это позволяло ей справляться легко с неприятностями, обезвреживать заботы, раздвигать их в разные стороны, как внесенная в комнату лампа раздвигает сгущенные сумерки. И Кусков, внешне выглядевший старше, взрослее и крепче, беседовавший с женой покровительственно, на самом деле постоянно опирался об ее текучую, все отражающую цельность, как устойчиво опирается лодочный кузов о податливую, но упругую поверхность воды. Причем, ни перед кем посторонним, ни перед самим Кусковым жена не обнаруживала истинного характера их отношений, считая их совершенно естественными или даже не замечая их.

И не сохранилось меж ними чрезмерной страстности, но не выступило пресыщение, не возникло отталкивание, разделяющее бесповоротно мужчину и женщину. В этой области установилось равновесие, позволяющее людям встречаться нетребовательно, не ожидая новизны друг от друга, но удовлетворенно и просто. Желания обузданы подробным знанием всего, что приносит взаимная близость и, введенные в точно измеренное русло, не превышают известного уровня, текут без избытка, но и без скудости, и в такой необременительной форме могут сохраниться до старости. Тем более, что, входя в возраст, люди часто решают, что и нет иных видов любви, чем уже открытые ими, и в любом новом случае возможны лишь повторения пройденного, и такое представление имеет свои основания. Это средство самоза-

щиты против изнуряющего вторжения страстей. К тому же, действительно, в данной сфере каждому отведен определенный участок. Только границы его, как бы себя ни успокаивали, до конца не известны сознанию.

Потому-то легкие нарушения, тихие толчки, вызывающие неприметные трещины на гладкой, как натертый паркет, поверхности их отношений, первоначально не воспринимались Кусковым. Зимой он отправился в одно из своих путешествий и на обратном пути задержался в Москве. Причин ускорять возвращение не было. Из немногих писем явствовало, что здоровье и образ жизни домашних ничем не нарушены. „Значит все в порядке“? — так любят спрашивать люди друг друга, останавливая словом порядок непрерывнодвигаемую противоречивыми силами жизнь, рушащуюся и восстающую снова, когда каждый предмет стремительно обновляет частицы его составляющие, отдает их во вне и втягивает из окружения свежие. Когда в каждое мгновение картина мира иная и все вокруг и внутри — мощное, неутомимое действие, длящийся жест, непрерывный поступок. „Все в порядке“, — пытаются остановить люди жизнь. „Спасибо. У меня все в порядке“, мог бы ответить Кусков.

2

С этим чувством он возвратился и в первое время оно не терпело ущерба. Жена попрежнему много работала. В разговорах не было надобности. Все обстоятельства нашли свои имена при первой же встрече. Кусков мог приняться за книгу с тем, чтоб потом опять выбрать поездку по вкусу.

Утрами он оставался один. Его будил стук шагов, плеск воды, светлыми лентами падающей из кранов в ванной и кухне, вязкое дыхание примуса, звяканье ложек о стенки стаканов и блюдец, — внезапно вспыхивающее оживление, вызванное одновременным пробужде-

нием нескольких человек и сборами их на работу. Кусков приоткрывал глаза и помимо этой выставки звуков, то вносимых, то убираемых из комнаты, в зависимости от того, открывалась или затворялась дверь в коридор, Кусков заставлял фигуру жены в мохнатом халатике, то-ропящуюся умываться, или уже в застегнутом платье, нагнувшуюся над косо поставленной прорубью зеркала, в которое она внимательно вглядывалась, будто разыскивая свое отражение, и вдруг, встретившись с ним, что-то быстро исправляла в лице, прикасаясь к нему проворной пуховкой. Наконец, жена уходила, увлекая за собой добрую половину разбежавшихся по комнате звуков, и уходили все остальные. Раз за разом захлопывающаяся наружная дверь отмечала каждым ударом все возрастающий в комнате уровень тишины и, когда молчанье смыкалось над кроватью Кускова, поднявшись до самого потолка, он иногда задремывал снова. Затем его день начинался вторично, управляемый только им, без участия других обитателей. Кусков завтракал в одиночестве, бродил некоторое время по комнатам, присаживался на стулья и кресла, то рассматривая газетные сообщения, то вытягивая из книжного шкафа какую-нибудь давно неупотреблявшуюся книгу. Наконец, после долгих оттяжек, остановок в пути и случайных раздумываний Кусков добирался до письменного стола. Там стерегла его рукопись, требующая продолжения, исправлений, выравнивания, и Кусков оставался с нею наедине.

Этих встреч он в сущности опасался.

Как все, до известной степени прикоснувшиеся к искусству люди, подававшие смолоду надежды, выглядевшие способными, но лишенные главных свойств художника — упорства и трудолюбия, Кусков предпочитал пребывать в сфере намерений вместо того, чтоб добиваться завершений задуманного. Он растрачивал пыл в предварительном выныачивании тем, забывая, что план работы должен быть лишь бегло намечен, чтоб сохра-

нить способность легко изменяться от столкновений с грубой словесной материей. И после приятного разглядывания планов у Кускова не оставалось энергии на требующую мускульных усилий процедуру размешиванья, обтачиванья и скрепленья извести, камней и балок, из которых воздвигается жилой дом искусства. При этом, как всякий дилетант, Кусков решал, что его тормозят обстоятельства, отвлекают многие поводы, и, не будь их, он взялся б за дело со страстью. Тем самым приступ к настоящему труду отодвигался с периода на период.

Решившись остаться за столом, он долго перечитывал прежде написанное. Иногда все рабочее время тратилось в этих просмотрах. Кусков волновался, в сотый раз измеряя наизусть знакомый кусок. Иногда, переставив знаки препинания, он чувствовал, что добился важных результатов, и разрешал себе отдых. Иногда не мог он извлечь из себя не единого слова и все выполненное до сих пор находил бесцветным и пресным.

К своему несчастью он не удовлетворялся самодовольным чувством, что его все же подчас печатают. Он не мог переселиться, как иные развязные неудачники, целиком в организационную деятельность и уверить себя, что разговоры вблизи искусства и есть создание ценностей. Он признавал иногда, что его рассказы весьма рядовое занятие, и появление их не в силах обогатить действительность. В окружающем он разбирался инертно. Зная несколько общедоступных марксистских формулировок, он полагал, что владеет ключом, отмыкающим двери событий. Но ключи он держал бесцельно в руках, не пытаясь войти внутрь кладовой. Опять-таки, подобно многим, он не учитывал, что слышать о мировоззрении и жить им — совершенно разные вещи. И как ряд людей его круга и уровня, претендующих на сознательность, в действительности Кусков не обладал мировоззрением вовсе.

Вероятно, это особенно тормозило работу и, когда день истекал, у Кускова оставался в душе неразствори-

мый темный осадок безпричинной тоски, неудовлетворенности, и неуверенности, и смутной угнетенности, из которых не зачерпнуть ничего плодотворного. Удастся ли ему вверить людям хоть часть своих наблюдений и чувств? Да и нуждается ли кто-нибудь в подобном подарке? Эти мысли сгущались в черепной коробке Кускова. Его мозг сжимала мигрень. Кусков вытягивался на диване. Над ним, то спускаясь, то отдаляясь, колебался известковый экран потолка. Кусков ждал прихода жены. А может — не ждал ничего.

Но жена, наконец, возвращалась и улавливала усталость Кускова. Обладая она меньшим запасом все пронизающей ясности, она запуталась бы в паутине уныния, густо заткавшей комнату за день. Ей было б не пройти сквозь сероватую ткань, сквозь тусклое плетение, центром которого являлось тело Кускова, но она поворачивала все самой естественной стороной — разумеется, Кусков наработался и раскис и быть иначе не может. Она будто внушала Кускову, что день им полезно использован и усталость почти приятное следствие его серьезных трудов, значительно более важных, чем выполненные ею самой. Неизвестно, верила ли она в подобный рисунок событий, но Кусков легко шел ей навстречу. Он соглашался принять утешительно раскрашенное объяснение своего состояния и спустя некоторое время даже чувствовал преимущества собственного положения перед незатейливой жизнью служащей женщины. В его голове мерцало, что, пожалуй, жена должна быть ему признательна. Заставляя ее распускать петлистую сеть его мрачности, он как бы приближает ее к области творчества, хотя и с оборотной, самой непоказной стороны. В свою очередь он сам начинал чувствовать к ней благодарность. Его тянуло вознаградить женщину, возместить ей затраченное на него внимание. Он становился особенно мягок, брал ее за руки, невзначай обнимал, сам загораясь от собственной нежности. Полный уверенности, что жена ступень за ступенью

пению по ответным переживаниям восходит навстречу ему.

Потому-то, когда женщина стала вдруг отстраняться, Кусков не понял случившегося. Он беседовал с женой вечерами, как всегда не вглядываясь в нее. Перед ним будто стояло зеркало, в котором поворачивался собственный образ Кускова. Рассматривая себя с разных точек, Кусков воодушевлялся. Иногда был растроган, иногда испытывал самодовольство. Реплики жены или даже ее молчание достигали до Кускова из-за этого воображаемого стекла и, однажды, уяснив, что жена говорит невпопад, Кусков удивился.

Жена казалась испуганной. Что-то словно передвинулось в ней с места на место, и Кусков решил, что она нездорова. Она не опровергла и не подтвердила его подозрений. Ей видимо хотелось заговорить о чем-то своем. У нее был вид человека, стоящего на берегу реки, собирающегося ступить в воду. Кускову стало обидно. Даже если она захворала, в этом было нечто ее отделяющее от Кускова, сообщающее ей собственную изолированную жизнь. Кускову же бессознательно представлялось все существование жены лишь принятием и отражением его мыслей. Настолько, что даже здоровье и болезнь ее управляются его волей. И обида только усиливалась, чем подробней он жену наблюдал.

Однажды ночью он пришел к ее узкой кровати. Было время белых ночей, тот промежуток, когда вечерний свет иссыкает, а утренний не вошел еще в силу. Промежуток внезапного помутнения. Еще мгновение — и город со всем его содержимым будто выпустят из рук и он, канув во тьму, станет невидимым. Но когда, кажется, паденье уже началось, город подхватывают с другой стороны и опять выносят наружу. Кусков стоял у постели. Он был уверен, — жена не успела заснуть. Лица ее он не видел. Только в сумраке — неподвижно светлевшая масса белого одеяла. Будто выточенная из алебаstra с твердыми выпуклостями и ложбинками. Лицо, поверну-

вшееся к стене, целиком слилось с подушкой. И на подушке, тоже словно затвердевшее — черное гнездо отдельных, никому не принадлежащих волос. И неизветно где возникающее, как бы струящееся над постелью дыхание.

Кусков ждал — жена повернется. Дыхание окружало постель и не подпускало Кускова. Оно замкнуло тело жены колышущейся ритмической стенкой. Кускову стало невыносимо стоять. Он понял, что жена далеко. Она уплывает по этим шуршащим волнам. Он помешать ей не в силах.

— Нина, — позвал он и коснулся рукою плеча.

Она сразу приподнялась. Будто сквозь нее пропустили электрический ток. Она встрепелась и села. Сбросила его руку с плеча и прислонилась спиною к стене. Жест испуга и самозащиты. Она даже вытянула руку вперед, будто намереваясь отодвинуть Кускова. Но опустила руку обратно и громко вздохнула.

— Ты спала? — спросил Кусков шопотом, не зная, о чем говорить.

— Я испугалась. Иди к себе, — мягко сказала она, — иди, иди. Я очень устала.

Зацепившись о кресло, Кусков шел обратно.

„Вот как“ — думал Кусков, угрожая чему-то.

— Мне очень плохо сейчас, — догнал его голос жены.

„Вот как“ — думал Кусков. И не поддержал разговора.

3

Дальнейшие дни погрузились в молчанье. Кусков делал вид, что особенно занят. В действительности работа застыла. Рукопись холодела на глазах Кускова, будто кусок металла, давно вынутый из огня и не поддающийся обработке. И в этом была виновата жена. Кусков не умел обвинить ее связно. Но и вне доводов Кусков упражнялся в своем угрюмом строительстве. Ясно, успела отвыкнуть. И в нем теперь не нуждается. Напротив, им тяготится. Не умеет войти внутрь его

замыслов. И так было всегда. Бродила лишь по внешней кромке его интересов. Отстаивает свою обособленность. Если он ничего не достиг, то из-за этого, хоть и не выявленного, сопротивления жены, вносившей в жизнь его инородные мысли... Не хотела стать его соучастницей.

И вместо работы над книгой Кусков углубился в не-весомое творчество, в образование странных пейзажей, в которых двигались друг за другом цепко связанные, но всегда противопоставленные два одиноких образа. Посторонних в пейзажи он не пускал. Образы перемещались одни. Это была несколько унылая, будто на луне совершающаяся, молчаливая драма. Бесконечная пантомима. Ходят две куклы. Никакой хор не сопровождает безмолвного действия. Зрители за ним не следят. И потому, при всей скудости, в драме — оттенок величия. Словно все происходит на вершине голой горы, обнесенной пустыми ущельями. Для людей сюда доступа нет.

Между тем, если б Кусков оглянулся, люди нашлись бы вокруг. Нина с кем-то общалась на службе. Большую часть дня Нина двигалась по орбитам, загибающимся вдали от Кускова. И люди, во всяком случае, их имена, постоянно кивали Кускову из повествований жены. Некоторые имена повторялись. Кусков привык их узнавать. Одно имя особенно часто Нина приносила Кускову. Она клала его перед Кусковым каждый день и, казалось, предлагала всмотреться. Кусков удивлялся ее непонятной настойчивости. Небрежно ворошил имена, как связку медных цепочек. Что ему в них? Он различал их бряцанье. И особенно теперь, увлеченный воображением, отбрасывал он имена, не прикрепляя их к действительно существующим лицам. Но однажды сквозь имя, как сквозь открытую дверь, вступил человеческий образ.

В этот вечер давался концерт, и Кусков отправился слушать. Нина сопровождала его. В черном костюме, украшенный проседью, с худыми остановившимися чер-

тами Кусков себе понравился в зеркале. Он казался старше своих лет. Нина выглядела моложавей. Она взяла его под руку и осторожно вела. Он осторожно ступал, словно боясь притронуться к людям. Ему представлялось, — он стар, что-то вроде поседлого Гамлета. Даже, может быть, слеп и ведет его под руку девочка. Может быть, совсем посторонняя, или он забыл ее имя. И все вокруг знали его; только делают вид, что он неизвестен. Да и вправду он кто-то иной и скоро обнаружит лицо. Может быть, этого ждут, об этом распространяются слухи. Кусковы добрались до мест. На эстраду вышел пианист.

Пианист держался с чуть скептической вежливостью. Улыбался одними губами, не утруждая остального лица. Кланялся одной головой, оставляя все тело прямым. Он играл с рассудочным блеском, словно показывая зрителям безупречно точеные и драгоценные камни. Он не позволял к ним притрагиваться, но давал любоваться издали и сразу их смахивал в сторону. Как витрину за витриной, расставлял он по эстраде отдельные фортепьянные пьесы. В его способе обращения и с музыкой, и с находившимися в зале надменность сочеталась с любезностью. Зал в значительной части тянулся к нему, словно желая заглянуть в его руки, полные бесплотных сокровищ.

В этой отборной игре таилась сила, особенно задевавшая Кускова. Кусков чувствовал суть пианиста, и она казалась ему его собственной сутью. Но тот распоряжался на эстраде, Кусков же сидел в стороне. Тому позволялось открыто высказывать это граненое, ставшее почти самостоятельной ценностью пренебрежение. Его математически рассчитанная гордость направлялась и против Кускова. Зал глотал ее бессознательно, но он-то, Кусков, понимал. Его руки холодели от зависти. Нет, он должен решиться. Хотя бы на бессмысленный шаг. Но выделиться наконец.

Пианист встал и раскланялся. Аплодисменты катились из зада. Пианист нагнулся вперед, чтобы сохранить

равновесие под их грубым напором. Он расправил плечи, словно примеряя облепившее его восхищение, как скроенный ему по обычной мерке костюм. И облеченный в него сверху до низу, не стесненный им в движениях нигде, пианист прошел в артистическую.

Слушатели, разделившись на несколько потоков, освобождали прямоугольную внутренность зала. Сухими зубчатыми ребрами выступили спинки стульев. Кусков остался с Ниной в проходе. Всплескивающий объединенный шум разговоров, шагов, движений взлетел кверху и окружил полные стеклянных искр люстры. Над стенами белых колонн, словно чуть вздуваемый шумом, светясь, висел потолок.

Из толпы поклонились Нине. Кусков не рассмотрел человека.

Кусков только заметил, что тот невысок и безцеремонно раздвигает идущих. Бывают несложные люди, всюду чувствующие себя по-хозяйски. Наивные, прямолинейные люди, убежденные, что обстоятельства зависят от них. Так воспринял Кусков удаляющегося. Непонятно, что им нужно от музыки. Мимоходом развлечься или чтобы хвастнуть у знакомых...

— Васнецов, — пояснила Нина.

— Кто такой? — поинтересовался Кусков.

— Я тебе много раз говорила.

Кусков ответил:

— Не помню.

4

Кусков ответил не точно. Верным было лишь то, что до этого вечера рассказы жены проходили мимо него. Но, проснувшись на следующее утро, он вдруг убедился, что множество ее фраз все же сохранялось в оболочках его сознания. Он носил эти фразы с собой, не стремясь никак ими пользоваться. Лишь теперь внезапная вспышка осветила запас его сведений. Сведения приго-

нялись друг к другу, образуя конструкцию устойчивую и бесспорную, хотя и странного вида.

Тут следовало бы обсудить. Потолковать обстоятельно. И посмеяться, пожалуй. А если смех неуместен, может быть, вместе задуматься. Наконец, просто осветомиться, хотя бы из любопытства. Но Кусков оградился безмолвием. Если пыталась жена подчас внести слова в их застывшую накрепко комнату, он гасил их, как свечу, предпочитая стоять в темноте.

Он не ждал ничего подобного. Хотя, собственно, что происходит? Он не видел оформленных фактов. Но расплывчатый, предположительный строй их обволакивал его сверху до низу. Каждый день суживался, будто клин, и его острие упиралось в постоянную точку, в момент, когда хлопнет парадная дверь, отмечая возвращенье жены. Каждый раз Кусков накапливал горсти фраз, предназначенных Нине. Будто угли, он раскалял их в своем одиночестве. Они жгли ему мозг. А затем протлевали, не вынесенные наружу, превращались в легонький прах.

Раз случилось, — она задержалась. Он и сам был в гостях и вернулся не рано. Нина не приходила. Приближался двенадцатый час. День был жарок, и вечер не принес облегчения. Это выпал один из тех дней, когда исчезают последние признаки весны и сразу оказываешься в самой сердцевине лета. Состав воздуха изменяется. Ни одной свежей частицы. Он пропитан известковой пылью, каменной сухостью, образован из мельчайших, трущих горло песчинок. От дворов тянет вонью отбросов. Умирают деревья в скверах, неподвижно развесив серые, ненастоящие листья. Голова тяжелеет от зноя, рубашка липнет к телу. В такой день люди забивают пригородные поезда, стараясь захватить хоть килограмм драгоценной прохлады. Обессилен, бродят по улицам, теснятся в летних садах, где даже звуки оркестров кажутся жаркими, как дыханье костра. Даже вода в каналах — словно теплое, липкое масло. И небо, одетое пылью, тускло меняет цвета. Никнет грязнокоричневый вечер.

Кусков ждал и курил. Ему пришло в голову, что с Ниной случилось несчастье. Ее мог опрокинуть автобус, зацепить подножкой трамвай. Постоянные городские происшествия, вносящие поправку в людские дела и намерения. Эта мысль принесла облегчение. Кусков ясно представил, как он выезжает в больницу. Нина жива еще, нет, она умерла. Кусков входит в покойничкую. Ему страшно и как-то торжественно. Низкая длинная зала. Деревянные скамьи с деревянными возвышениями для головы. Желтые мутные капсулы ламп, далеко висящие одна от другой. Застоявшийся сумрак, прохладно. Он неспешно идет и в груди затихает дыхание. Нина лежит под затвердевшей простыней, не шевелящейся простыней, будто вырезанной из жести, как бывает всегда, если холст брошен на мертвого. Ее маленькое лицо не изменилось, приподнятое деревянной подставкой. Лишь полоска грязи на белой щеке. Кусков наклоняется. Ему страшно и как-то значительно. Ее губы разжаты, чуть раздавлена верхняя, на ней темной корочкой — кровь. Кусков вздрогнул. Он желает, в сущности, этого. Он вцепился в представшую так подробно картину и не в силах от нее отойти. Он встал и с бьющимся сердцем быстро спустился на улицу. Он призывает несчастье, оно ему кажется выходом. Улица тихо раскачивалась, унылая сумеречная улица раскачивалась, как доска огромных неспешных качелей.

Однообразная, тихая улица. Глубокая и сравнительно узкая. Не имеющая трамвайных путей, редко тревожимая автомобилями. Фонари не горели по случаю белых ночей. В полумраке дымном и вялом желтели отверстия окон. Здания высоко подымались сплошными темными массами. Прокрадывались редкие прокожие, словно опасаясь быть узнанными. Из раскрытых окон, как по желобам, сливался на улицу непрекращающийся, непонятного происхождения шум. Шум отдельно сказанных в различных этажах и одновременно толкнувших воздух фраз, шум от движений многочисленных жителей в мно-

гочисленных комнатах, шум многих дыханий, может, даже шум неисчислимого количества мыслей, сложный, глуховатый шум, вызванный разнообразными проявлениями сведенных на одну территорию жизней. Просачивающийся сквозь все поры улицы шум.

Кусков шел, вдруг потрясенный столь явным соседством со всюду присутствующими, всюду спрятанными, невидимыми человеческими существами. Кто они? Кто он сам? Пройдет лет пятьдесят и от всех этих шуршащих в стенах людей, от него самого, отделившегося от раковины подъезда, неизвестно куда направляющегося, — не останется ничего. И он сам, и его современники уступят город другим. Не сохранится никто. Кускову стало тоскливо.

В это время на противоположном тротуаре он различил Васнецова и Нину. Он узнал их обоих мгновенно. Они двигались ровной, согласной походкой, удивительно совпадающей, когда ни один не выдается вперед, ни один не отстает, походкой, будто имеющей один центр управления. В этой мучительно-вымышленной улице они были совершенно реальны и, казалось, сообщали вещественность всему, мимо чего проходили. Окна, на уровне которых передвигались их головы, становились обыкновенными окнами. Налет загадочности исчезал со стен и подъездов. Они возвращали улице ее простоватое, будничное выражение, сами не замечая того. Они остановились почти напротив Кускова, разговаривая громко и внятно. Кусков не вслушивался в их слова, но его поразило, что Нина смеется.

Он поспешно вернулся обратно в подъезд. Он почувствовал, что Нина видит его. Она шла вслед за ним. Кусков бежал по лестнице вверх.

Они вошли одновременно в квартиру. Молча, прошли коридором. Вступили в их общую комнату. Нина зажгла электричество.

Они висели, будто в маленькой клетке, на вершине огромного дома. Из их окон через узкий квадратный

обрыв двора видны окна противоположного корпуса. Из окон противоположного корпуса совершенно ясна почти вся их комната. Оттуда ясны их фигуры. Женщина пошла к туалету, и, на миг уронив свое отражение в зеркале, повернулась к нему спиной. Мужчина стоит неподвижно. Под лампочкой, оттянувшей шнур тяжестью заключенного в ней безразличного света. У женщины утомленное лицо, она, кажется, что-то сказала. Что может она произнести? — я устала, или пора спать, или будем ужинать или что-нибудь в этом же роде. Подняв руку, ей отвечает мужчина. Затем он поворачивается и, горбясь, шагает по комнате. Иногда исчезает из глаз (если смотреть из окон противоположного корпуса), исчезает и возвращается, и так несколько раз. Поднимает два кулака и трясет ими над лицом женщины. Рот его прыгает. Он, возможно, кричит.

Женщина подбегает к окну, что-то трогает сбоку и полотняная штора падает сверху с карниза. Словно гасит окно.

— Я тебя изобью. Своими руками.

Слезы выступили непроизвольно. Механическая реакция. Так бывает всегда, если ее оскорбят. Хотя ей не хочется плакать.

5

Кусков выехал в пригород. Жил у знакомых. Жена известила его об отъезде. Кусков письмо разорвал.

Он пробыл несколько дней в состоянии повышенного равнодушия. „К чорту! — говорил он себе. — А я-то думал...“ Он стал груб в беседах с собой. На все предметы и события он клал, как смоляное клеймо, какой-нибудь мерзкий эпитет. Он ступал по грубейшим словам, как по твердым булыжникам. Поступать никак не хотел. „Ко всем чертям! Пусть все пропадает“.

Внешне он даже поправился, подзагорел и окреп.

Но однажды пришло ему в голову, что пора заняться

делами. Он переедет в Москву. Следовало собрать свои вещи. А потом — проклятая книга. Нужно и с ней развзаться. Он явился домой.

К счастью, все обитатели разъехались в отпуск. Кусков мог орудовать в одиночестве. Разделаться с прошлым поспешно. Подумаешь, со всяким бывает, он даже сам удивился, до чего ему безразлична их комната. С тех пор, как Нина предпочла другого, не стоит ею заниматься. Кусков паковал чемоданы, соображая, что захватить. Оставалась покупка билета. Он в отличном расположении духа. Жизнь идет. Ничего не случилось.

Но он не пошел за билетом. Ему что-то мешало уехать. И, действительно, спешить ему некуда. Тем более, что квартира пуста.

Он вдруг пристрастился к радио. Давно неупотреблявшийся плохонький приемник пылился на подоконнике. Кусков включил его в сеть и, выкарабкавшись из кровати, где он долго залеживался, лениво покуривая, — усаживался у черной коробки. Он вкладывал голову, лишнюю мыслей, опустевшую, словно эта оставленная всеми квартира, в обруч с наушниками, и в уши его поступали различные звуки. Монотонный, скрипучий голос убежденно называл исполняемое. И жужжала виолончель или едва заметными паутинными линиями вырисовывалась мелодия скрипки. Или вдруг голоса певцов старались Кускова развлечь, а потом отходили и меркли. Узнавая знакомый романс, Кусков кивал в такт головой. Приемник был слабый, и звуки казались уменьшенными копиями настоящих голосов, инструментов, оркестров.

Кусков тщательно воспринимал целиком всю дневную программу. Сообщения бюро погоды — города, формулы, цифры: облачно, ясно, хорошая видимость, тенденции нет. „Тенденции нет“, повторял серьезно Кусков, словно обозначая этим выражением собственное состояние. Это его успокаивало: сообщают — тенденции нет. В череп Кускова, как из двух кранов, изливались сельскохозяй-

ственные лекции, уроки иностранных языков, программа театров и кино. „Проверьте ваши часы“, обращались внятно к Кускову. И Кусков всегда проверял. А к вечеру его усталую голову втаскивали в помещение театра. Впрочем, театр был условным, не умеющим воплотиться всерьез. Аплодисменты и покашливанья символизировали зрителей, пение и тихонькое позванивание оркестра плавали отрезанные от цветов, форм и поступков. Это был театр призраков, недоступный для зрения, раскинувшийся над городом, театр, присутствующий одновременно в различных точках земли, но не находясь нигде.

Иногда Кусков засыпал зажатый клещами наушников.

Но пока голова была занята звуками, во всем остальном существе вынашивались неопределенные чувства. Нина не занимала его, но Васнецов возбуждал любопытство. Как он смел так бесцеремонно расталкивать толпу на концерте? Что давало ему основания говорить громко на улице? Разве город обязан был его слушать? Кусков рассматривал этого человека с пристальной зоркостью, которую развить может только ненависть или любовь. Но о любви тут не было речи. Сосредоточенная враждебность словно укрепляла Кускова, вызывала в нем, давно отошедшем от подлинных простых чувств, человеческие черты. Он должен что-то причинить Васнецову. Причем, тут дело не в Нине. Нина была лишь причиной, заставившей их друг друга узнать. Их спор лежит за пределами Нининой жизни.

И когда это выяснилось, Кусков изменил свой маршрут. Оказалось несложным раздобыть командировку на фабрику. Кусков добрался до Ломжи, не зная, на что решиться. Он доверился случаю, убежденный, что его не обманут.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Короленко заканчивал передовую. Это давалось ему не легко. Он сдвигал кепку на затылок, потом резко натягивал к самым бровям. Короленко предстояла задача на чрезвычайно ограниченном пространстве разместить беспокоившие его соображения. Соображения сводились к тому, что сейчас есть все предпосылки к уверенному повышению выработки. Фабрика обеспечена техническим руководством. Состав рабочих укомплектован. Первый период стягивания человеческих сил теперь благополучно закончен. Мешает недостаток резервов, недостроенность биржи. Но внимательный надзор должен сгладить препятствия.

И пора вводить сменно-встречный. Новый метод соревнования. Смысл приезда бригады во внедрении этого метода.

И затем слова о газете. Призыв к выявлению раб-
коров.

В редакции просторно и тихо. Деловые часы истекли. Шаги служащих и посетителей постепенно оставили дом. Покорно примолк телефон.

Микешкин перебрался в смежную комнату. Вытянулся у высокой конторки. Заглядывая в рукопись, наощупь выдергивал из наборной кассы свинцовые зерна шрифта. Он вкладывал их в раму, содержащую металлический текст.

Разговаривать ему было не с кем. И шумами,

свистами и покашливаниями он заменял упраздненную речь.

Вдруг он свистнул особенно лихо, и мелодия, крутившаяся в его голове, овладела им окончательно. Он притопнул футбольными бутцами, подтянул руками штаны и, отскочив от конторки, прошелся вприпрыжку по комнате.

— Ты что, чумовой, сорвался? — из-за двери запросил Короленко.

— То есть как это чумовой? Ты какое право имеешь? Микешкин высунул голову, с наслаждением разрешая языку поработать.

— Иди к чорту! Дверь затвори. Набирай, пока не издох.

— У, ты, бригадир заразной бригады.

Микешкин закрыл было дверь, но не мог допустить, чтобы столь удачно развернувшийся разговор растворился в молчании. Он опять сунулся в дверь.

— Шурка, а, Шурка, что я тебе расскажу.

— Катись. Не мешай.

— Я тебе сообщение сделаю: к нам приехал писатель.

— Сам ты писатель.

— Нет, верно, Шурка. Ты не треплись. Я трепачей не могу уважать. Я сегодня с ним в столовой обедал. Сидит напротив меня и в меню разбирается. Я ему говорю: „Вы, товарищ, не разбирайтесь, все равно макароны дадут“. — „Почему, — говорит, — макароны?“ — „Потому, что и я получил макароны. А уж если я получил, значит только макароны и есть“. И, верно, несут ему макароны. „Откуда, — спрашивает он, — вы все так понимаете?“

— Во-первых, сегодня котлеты давали, а, во-вторых, ты все врешь.

— Ну, котлеты, значит, попозже, а бесплатно я врать не намерен. Ты слушал бы лучше, а потом замечания с мест. Я редакции пользу принес. Об редакции все знаю. А потом, признаться по совести, мне твою

труху набирать надоело. Пусть лучше писатель нам пишет. Я ему самым вежливым образом: „Вы что ж редакцией не интересуетесь? Или у вас другие наклонности? Я, как главный редактор, просил бы вас заглянуть. У меня, мол, тоже писатель сидит, но еще совсем ненадежный. Три часа статью сочиняет, ни гвоздя придумать не может. Так, стрючок еще, а не писатель“.

Короленко привстал, чтобы убрать собственноручно Микешкина. Но дверь из коридора открылась. Первым вступил Королев, за ним маленькая, коренастая девушка. Низко стриженная, в высоких мужских сапогах. Королев, войдя, поздоровался.

— Вот, Титову привел.

— Здравствуйте, — сказала Титова.

— И отлично ребята. Хорошо, что вы подошли. — Короленко потер руку об руку.

— Писать хочет Титова, — серьезно сказал Королев.

— Хочу, — подтвердила девушка. — Я грамотная. Я в школе училась.

— И прекрасно. Я вот что надумал, сегодня же после собрания устроим рабкоровский рейд. Только надо побольше ребят подобрать. — Короленко стал объяснять. — Теперь вот что, ребята. Я хочу вам статейку прочесть. Какие будут у вас замечания?

Короленко раздельно читал. Слушатели принимали его слова. Титова даже шевелила губами. Все помолчали, обдумывая.

— Только надо собрание сразу, — наконец сказал Королев.

— Ты какие собрания думаешь?

— По каждой смене, чтоб всем было понятно. Насчет сменно-встречного. И администрация чтобы назначала спешно сменам задания.

— Васнецову надо сказать, — предложила Титова.

— Васнецову? — Короленко запнулся. — Вот, давайте, товарищи, поставим прямо вопрос. Как считаете вы Васнецова? Приносит он фабрике пользу? Или нет, или

даже мешает? У меня, конечно, есть свое мнение. Но как вы? С точки зрения дела.

Королев уставился в пол.

— Я тебе так объясню. У меня работа не главная. Мне не надо с Васнецовым встречаться. Но чтоб вред он доставлял, об этом мне неизвестно.

— Ну, какой же вред! — рассмеялась Титова.

— Однако, прежний заведующий только в кабинете сидел. А Васнецов целый день на машинах.

— Несколько раз за смену приходит, — подхватила Титова.

— Если порча где или что, сам сидит, проверяет.

Короленко улыбался довольный.

— Я вот что сейчас полагаю. Не сходить ли нам к Васнецову? Обсудить вопрос сменно-встречного. Кстати надо потолковать.

— Когда? — спросил Королев.

— Хоть сейчас. Если он дома, конечно.

— Ну давай.

Короленко придвинул к лицу телефонную трубку.

— Это ж я, Короленко, — принялся он объяснять. — Нет, никто не направляет. Знаю, что сегодня собрание. Оно и лучше перед собранием. Значит есть. Сейчас направляемся.

— Ну, готово, ребята, поехали. Сейчас статью сдам в набор.

Короленко выбрался из-за стола. Вдоль коридора загремели шаги.

Шаги были прыгающие и торопливые. Остановились у двери редакции. Как бы передохнув перед дверью, в комнату въехал Зеленский.

Он держал лист бумаги, и легко можно было пред-
ставить, как он неся с этим листом и размахивал им по дороге. Он подал лист Короленке.

— Вот, пожалуйста, — сказал он, — передовая в сегодняшней номер.

— То есть как? — застыл Короленко.

— Что такое? Что вы удивляетесь?

— Передовая ж поручена мне. Я ее уже приготовил.
— Вам поручена. Но произошли изменения. Передовая написана Бахом и мной.

— Так зачем же я время терял? Что, вы, правда, шутите с Бахом?

— Вы обязаны подчиняться редактору. Если даже десять передовых написали, редактор может их снять.

Это было вполне основательно. Короленко не знал, что ответить.

— Как угодно, — сказал он потом, — сдавайте сами в набор. Ну, ребята, нам пора к Васнецову.

Зеленский повернулся на месте.

— К Васнецову? Зачем вы к Васнецову? Я считаю, что это неправильно.

Короленко удивился опять:

— Вы считаете? Вам что за дело?

— Замечательно! — раскричался Зеленский: — мы пускаем статью от бригады, в которой клеймим Васнецова. А член бригады идет к нему в гости.

Короленко вырвал статью у Зеленского и приблизил бумагу к глазам. Он прочел ее быстро, опустил лист на стол и решительно обратился к товарищам:

— Ну, пошли. Неудобно, ждет человек.

Он спокойно обошел Зеленского и сказал, уже стоя у двери:

— Если бригада решала, то могли пригласить и меня. Я такой же голос имею. Для меня здесь картина неясная. Наберите статью без меня.

Пропустив вперед своих спутников, он хлопнул коротко дверь.

2

Вышло так, что, вернувшись домой, Васнецов наткнулся на Шукина.

Художник не впервые заходил. Он вносил осторожно свое огромное тело в сделанные не по росту

комнаты. Приплюснутое, с выдвинутым подбородком, с маленькими голубыми глазами под белесой решеткой ресниц, с продавленным носом лицо. Усевшись, он мог замолчать, ни мало не интересуясь хозяевами. Или вдруг принимался за хлопоты, колол дрова, чинил электричество, заваривал кофе особым способом, позаимствованным у французов. Иногда садился за шахматы и легко подминал Васнецова.

Васнецов пришел недовольный. Хотя не знал причин беспокойства. Что-то вроде недовольства собой. Будто облако, гасящее краски, надвинулось со стороны. Неизвестно, откуда опасность, непонятно, как защищаться. Так бывает во сне, и тогда один выход — проснуться.

Но застав дома Щукина, Васнецов все же обрадовался.

Щукин, впрочем, тоже был хмур. До прихода Васнецова он сидел, курил и вздыхал.

Может быть, ему передавалась растерянность Нины. Нина двигалась в соседней комнате и словно не могла остановиться. Она то начинала рассказывать, то обращалась с вопросами. Щукин не смотрел на нее. И было совсем неожиданным, когда он вдруг промолвил в пространство, не поворачивая к ней головы:

— Не надо бояться.

— Что? — остановилась Нина. — Вы это мне говорите?

— Говорю, бояться не надо.

— Я не за себя, я за Шуру... — Нина будто споткнулась, не зная, как продолжать.

— Ничего, — сказал Щукин, — пройдет. — И не давая Нине опомниться: — я сейчас вас нарисую. — И потянулся за папкой.

— Да что вы? — удивилась Нина. — Я сегодня сидеть не могу.

— Можете, — Щукин достал карандаш. — Сядьте за стол. Смотрите, куда вам угодно.

За этим занятием их застал Васнецов.

Нина сидела, как школьница, выполняющая трудный урок. Шукин зверски взглядывала на нее, иногда надувая щеки и потом выталкивая воздух сквозь губы со звуком, будто откупоривается бутылка. Нина взглянула на Васнецова так, словно она провинилась и вот ее наказали, но вина ее незначительна, и пусть Васнецов не волнуется. Кроме того, в глазах ее поблескивала насмешливость как над собственным безвыходным положением, так и над грозными жестами Шукина. Обе эти фигуры были столь выразительно разны, что невольно вызывали улыбку.

— Попалась, — сказал Васнецов.

— Стойте, стойте, потом, — буркнул Шукин рассерженно.

Еще несколько раз он разрезал карандашом скрипучее поле листа и отбросил рисунок на стол.

— Хорошо! — закричал Васнецов. — Да это же очень удачно! Вы оставите нам?

— Ну, конечно.

Васнецову, действительно, нравилось. Здесь играли пустые пространства, незаполненные белые пятна. Там и сям подхваченные округло свинцовою линией, опираясь одно о другое, они вдруг приобретали осмысленную явную выпуклость. Изящество женского облика, непонятно преобразованного, потерявшего краски, но не ставшего тусклым от этого, трепетало в штрихах прозрачных, но не размельченных, а протяжных, резких и верных. Здесь была сжатость речи, отсутствие лишних определений. Но то выражение Нины, которое, войдя, застал Васнецов, отразилось во всей его сложности, только несколько украшенное и углубленное оттенком печали, какую Васнецов уловить не успел.

И с присущей ему способностью перескакивать из одного настроения в противоположное, извлекать целиком из каждой данной минуты ее содержание, Васнецов сразу забыл все предшествующие беспокойства.

— У меня есть отличные монографии. Вам было бы интересно. Да они еще не разобраны. Вы бы мне помогли.

Шукин снялся с места безропотно.

Оба двинулись в смежную комнату. Полки еще пустовали. Из двух прибывших со станции ящиков Васнецов и Шукин выламывали торчавшие ребрами книги.

— Тряпку, Нина! — шумел Васнецов. — Поэзию на третью полку. Художников ставьте вот тут. Технику в маленький шкаф. Ее нельзя смешивать с прочим.

— Я ставил в прошлом году пьесу одну. Я построил машины для сцены.

— Из фанеры? Противно смотреть. Машина должна быть тяжелой.

— Ну, пойдут инженерские гимны машинам!

— Гимнов не будет, товарищ! Нам над машинами фантазировать нечего. В чистоте их надо держать, чтоб все части были в порядке. У нас машина лишь средство...

Тут ворвался телефон из редакции. Повесив трубку, Васнецов продолжал:

— ... средство строить новое общество.

Васнецов остановился.

— Сейчас все решишь впервые и не для себя, а для всех. Все заново мы начинаем. Вот взять Ломжу хотя бы...

Васнецов засмотрелся в окно.

Фабрика зажглась изнутри. Ее длинная стена обесцветилась, но выступили освещенные стекла. Что-то праздничное было в этом ряде огромных золотистых прямоугольников, парящих над промокшей местностью. За световыми экранами окон — кое-где пепельные тени машин. Вот круглые, бесшумно раскачивающиеся силуэты моторов бумажного зала. Вот скользящие, расплывчатые лопасти, будто образованные из дыма. Окна в правой пристройке световыми зубцами стояли одно над другим. Это окна, за которыми лестница. Там склонялась, то суживаясь, то расширяясь, теневая фигура уборщицы, очевидно протирающей стекла. Окна в левой пристройке разрезали сверху до низу фабрику. Трехэтажные золо-

тые колонны. Свет так сильно налег на них изнутри, что окна казались выпуклыми.

Васнецов каждый вечер разглядывал эти крепко очерченные световые пластины. И часто выбегал им навстречу, чтоб пройтишний раз по цехам.

Из проходной конторы шел человек. Сейчас он был в кожаном шлеме.

— Вы что-нибудь понимаете, Щукин? Для чего он меня травит?

— Кто?

— Да вот Бах, — Васнецов кивнул на окно.

— Каждый день в газете новости. Я только решить не могу, всерьез он меня считает прохвостом? Или только делает вид? И зачем ему собственно нужно, чтоб я оказался прохвостом?

— Я думаю, вы тут дело второе. Вы только по дороге попались.

— Но зачем же работе мешать?

— Работе ничто помешать не может. Если сам ее не сорвешь. Работой землю насквозь пройдешь и на другую сторону выйдешь. Вы только на собрании не разволнуйтесь.

— Да. Еще это собрание!

— От собрания хуже не будет. Собрание вещь выясняющая. А работа себя защитит.

Книги крепкой шеренгой занимали полку за полкой. Нина в соседней комнате включила электрический чайник. Девушка финка мыла посуду на кухне. В тазу шуршала вода. Заблестели висячие лампочки. В окнах стало темно. Квартиры оторвались от окрестностей. Нина сбросила вниз холщевые белые занавеси. Квартира осталась наедине с собой. Нина накрывала на стол.

...Ведь она же любила его когда-то раньше и разве можно сказать, что он и сейчас для нее посторонний? Ведь так, значительно прожить несколько лет с человеком, зная, как входит он в комнату, как сидит и читает, как спит, что он может сказать и куда идет

его мысли. Если знаешь человека настолько, к нему нельзя относиться враждебно. Хотя б он успел отойти далеко и вот — две различные жизни, и в той, что принадлежала им обоим, не хранилось особенной радости. Но и радость разве так обязательна, разве нельзя обойтись без нее? Впрочем, и это неверно, у нее были собственные неустранимые, постоянно возобновляемые радости, — радость от хорошей погоды, от прочитанной книги, услышанной музыки. И они казались достаточными, их на жизнь хватило б с избытком. Она не ждала ничего, не рассчитывала ни на чье появление. Она виновата лишь в том, что слишком мало раздумывала. Правда, после вдруг спохватилась и решила, что встретиться нельзя...

Начинал потрескивать чайник, набирая тепло в светлые, наполненные отражениями стенки. Голоса мужчин поступали с перерывами через полуоткрытую дверь. Девушка финка мыла посуду, и тарелки подымались в ее обнаженных руках, как белые круглые луны.

... Это было, как на американских горах. Сперва незаметная тяга вагончика: кажется, стоишь на месте и ничего удивительного, а потом открывается сразу, что вагончик висит на вершине, и под рукою Невы во всю вечернюю розоватую ширь и дальше — стены многих домов в штемпелях сияющих окон, и ветер, поднявший вагончик на воздух. А потом с непрочной вершины громяющее падение вниз. Тут только зажмурить глаза, и спасти нельзя ничего.

Впрочем, разве она не пыталась. И тогда находились простейшие доводы, убедительные, даже веселые. Ведь несколькими месяцами раньше люди жили, не зная ни лиц, ни имен, и, столкнувшись на улице, не имели ни малейшей потребности поздороваться, улыбнуться, окликнуть. Что было раньше возможно, отчего же недоступно теперь? Никому не взбрело бы в голову, что он чего-то лишен, и от этого должен страдать. Разве необходимо страдать? И чувствовать, как сжимается горло, и даже

расплакаться вдруг, в неприглядный обыденный день на простейшей томительной улице. Но почему так грустилось, когда стало ясно, что кончено? Столько нерасказанных слов, множество исчезающих мыслей, о которых другой не узнает. Вот я живу, говорю, а ты никогда не увидишь. А потом и не захочешь увидеть — вот с чем примириться нельзя. Тогда ходишь, как пустой футляр, механическое подобие человека, обведенное карандашом белое пространство. вроде того, что сейчас сделал Щукин. Так блуждалось в то время, — это Нине помнилось ясно.

И однажды, когда начинаешь привыкать к собственной пустоте и, будто о костыли, начинаешь опять опираться о везде заготовленные хлопоты, и вынужденная жизнь постепенно приобретает характер добровольный и даже некоторое самодовольство овладевает душой, некоторая гордость, что вот все-таки выздоровел, — вдруг из дому по лестнице вниз и по улице неизвестно куда — сыскать знакомых, забраться в кино, дойти до освещенного световыми шарами подъезда театра, и тогда в совершенно прозрачном спокойствии натыкаешься на того человека и хватаешься за руки, и дрожишь, и смеешься, произнося неудачные фразы. И вся гордость, все успокоение проламываются, как ледок под ногами (о какой тут гордости речь?), но сразу выравнивается дыхание и отовсюду подымается будто заново найденный город, одетый разноцветными красками, и светится земля под ногами, отражающая огромное зеленоватое небо, разделенное пламенными облаками.

И тогда состоялся отъезд. Но разве могла она считать посторонним Аркадия? Это, может быть, жалость, но и жалость тоже действительна. И зачем он приехал сюда вызывать ее жалость наружу? Почему не приходит сказать? Эта скрытность слишком тревожна. Нине представилось ясно, что Аркадий стоит за окном. Она чувствовала его взгляд на плечах. Подбежала, поправила занавес. Она стояла спиной к подоконнику, приложила ладони к вискам.

— Подозрительность, — сказал Васнецов за полуоткрытою дверью.

Чайник стал закипать, и бесцветные шарики пара выкатывались из светлого гнutoго носика.

— Зачем так часто подозрительность? Это — ядовитый состав. Им не следует пропитывать воздух.

И тут в дверь постучали. Нина бросилась в коридор, отстранив девушку-финку. Ей хотелось встретить самой, услышать первое слово. А главное — увидеть лицо и тогда все сразу понять. Нина откинула дверь.

После освещенной комнаты ступеньки крыльца опускались в черную яму. Нина едва не упала. Неожиданно громкий, окрепший в сумраке гул фабрики охватил ее со всех сторон и поддержал своей тяжелой средой. Черные фигуры людей, Нине показалось их много.

— Кто там? — вскрикнула Нина, ужасаясь, до чего слаб ее голос.

— Мы к товарищу Васнецову, — вежливо сказал человек.

— А, пожалуйста, — Нина обрадовалась: — заходите, хорошо, хорошо.

Фигуры взошли на крыльцо. Их не много, их только трое.

3

Короленко представлялось, что его проведут в кабинет. Там сядет перед ним Васнецов. Стол, поддерживающий книги, заставленный синими салфетками чертежей, будет разделять собеседников. И произнесет Короленко деловито-безразлично фразу, заготовленную им по дороге, но исчезнувшую сейчас из головы.

Васнецов из соседней комнаты, улынувшись, закивал головой.

— Заходите. Руки пыльные. Подать не могу.

— Мы пришли, — попытался начать Короленко.

— Хорошо, хорошо, — Васнецов прошел в кухню и там загремела вода.

— Ниночка, — говорил Васнецов, — выпьем чаю перед собранием.

Нина раскинула скатерть.

В комнате сделалось тесно. Сразу стало тепло. Квадратный стол прочно охвачен сидящими. Хотя вна- пришедшим было неловко. Они застыли как перед фотографом. Один Шукин сидел широко и удобно, сжав рукой стакан.

— Вот, товарищи, — вспомнилось вдруг Васнецову, — я вот что хотел вам сказать, Титова и Королев. — Он назвал их фамилии, давая понять, что отлично знает гостей. Выходило даже так, будто сам он их вызвал сюда. Гости подняли головы. — Я хотел вам такое сказать. У нас на фабрике разные люди. Есть очень квалифицированные, но бывает сырье, из деревни. Вот вчера вышел случай. Один из таких непривычных вздумал чистить целлулозный барабан ломом. Конечно, зубцы повредил. Я на него напустился. Он перепугался, но я вижу, — не понимает режима машины. Что человеку, например, нельзя ломом зубы чистить, так и в этот барабан не суй, что попало. Я сказал ему и ушел. Не могу я стоять над ним целый день. И потом я для него начальство. Он боится с непривычки со мной посоветоваться. Вы хоть молодые рабочие, но на фабрике обжились. Ваше дело таким объяснить, чтоб он знал, — тут не придирка, машина нужна ему самому.

Королев закивал головой, но его перебила Титова: — Я знаю, — заявила она, — сама деревенская. Ой и шуму же было, когда уезжала на фабрику.

Глаза ее вспыхнули, и она обвела ими стол. Ее тонкокожее безбровое лицо пропиталось ярким румянцем. Она сама изумилась собственной бойкости.

— А шум почему же? — спросил сосредоточенно Шукин.

— Мать плач подняла. Уезжаешь, а я одна остаюсь. Замуж лучше иди.

Голос Титовой окреп. Королев сидел хмуро. Беседа Титовой казалась ему несерьезной.

— У нас ведь как. Пятнадцать лет, значит — невеста. И теперь я в отпуск приехала, мать сейчас зовет женихов. Но я прямо сказала: я, мамаша, сразу уеду. Мать тогда стала молчать. Только ходит вокруг и вздыхает.

Короленко допил стакан и, поклонившись, поднялся. Разговор шел не по плану. Но он не чувствовал разочарования. Ему нравилось у Васнецова. Увидев в соседней комнате неразобранные книжные горки, он потянулся туда.

— Можно посмотреть? — осведомился он осторожно.

— Я вам сейчас покажу, — приподнялся Васнецов. — Вот только чаю напьюсь.

— Ничего, ничего, — остановил его Короленко.

— Только теперь другой разговор, — звонко распространялась Титова. — Теперь не очень-то слушают старших. Мне подруга раз говорит: „Нюра, ты ничего не знаешь?“ — „Нет“. — „Я сегодня с вечеринки прямо к Ване уйду“. — „Как же так?“ „А она живет с крестным. Так, что б дома не знали. А уж после запишемся“. Крестный на завтра с горя напился. А потом в гости пришел: „Мне обидно, я тебя растил, а ты ничего не сказала“. — „Я молчала, чтобы ты в растраты не входил“. Ну, потом помирились.

— Ты все про замужество, Нюра, — ухмыльнувшись, проскрипел Королев. — Видно сама собираешься.

— Что мне собираться? Тут сборы недолгие. Только мне ни к чему. Я, как приехала, совсем одна. А теперь все ребята знакомые. Вы бы к нам зашли, в общежитие, — окончательно осмелела Титова. — Тесновато живем. Но зато чистота. Вот у мальчишек похуже.

Короленко склонился над книгами. Его привлекали технические, крепко сшитые, в переплетах, как в досках. Пестрядь формул, нити схем, чертежей. Не понимая в них ничего, но проникнутый уважением к мыслям.

принявшим вид наглядных узоров с тем, чтоб превратиться впоследствии в объемные формы валов, колес, рычагов, смутно ощущая, что каждый виденный им цех есть воплощенное содержание человеческого рассудка, как бы фотография того или иного логического хода, Короленко вздохнул. Он решил, что, вернувшись из Ломжи, будет хлопотать об учебе. Он здоровый человек, для него в этом нет недоступного. Он может, он даже обязан, его полезность повысится. Комсомол его, конечно, поддержит.

— Это наш дефибierer, — сказал ему Васнецов. Он вошел только что в комнату. Он водил по странице пальцем, словно оживляя рисунок. — То есть, собственно не совсем наш. Наши, фюльнеровские, еще более новые. Но тип, близкий к нашему. Непрерывный дефибierer. Отличная конструкция. Вот — коробка с балансом, вот — камень, вот — выход щепы.

— Знаю, — сказал Короленко и оглядел Васнецова. Ему стало вдруг неприятно. Он вспомнил, что в данный момент напротив, в помещении конторы, рабочий нажимает подножку печатного станка. Из-под хлопающей рамы выкладываются только что оживленные краской листы нового газетного номера. Там ютится столбик статьи, где вот этот заглядевшийся на чертежи человек объявлен чуть не вредителем. Если б он был таким, Короленко не стал бы стесняться. Почему же в это не верится? Короленко выпрямился, и заготовленная им в пути фраза разом выступила в голове, будто с нее сорвали чехол.

— Мы хотели бы знать, какие меры вы предлагаете, а также предложить свои меры для изжития отставания.

Васнецов быстро поднял лицо. Они смотрели друг другу в глаза.

— Мои меры, — сказал Васнецов, — это часть общего плана. Я представил в бюро коллектива такого рода доклад...

Он хотел подробно продолжить, но на уровне его лица выстрелил телефонный звонок.

Механически, как в редакции, Короленко схватился за трубку. Он прижал ее к уху, но тотчас передал Васнецову. Он следил, как Васнецов переспрашивал.

Затем бросил трубку в рогатку и, уже пробегая в столовой, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Я на фабрику. Там авария. Это Панаев звонил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Вечером, у гостиницы, на огороженной длинными перекладинами площадке шумно играют в футбол. Мяч вертится и вдруг взлетает лугою, и качается в высоте круглый, тяжелый и черный. А внизу, словно прикрепленные к мячу, управляемые его косым полетом, мечутся группы людей. Их крики несутся к мячу, будто поддерживают его в воздухе, пока, покрасовавшись и исчерпав до конца свой разбег, мяч не сваливается в эти стерегущие крики и не раскалывает общую массу играющих на отдельные в разные стороны мчащиеся, силуэты.

Прохладный северный вечер. Местность бугристая, пузыристая и болотистая, местность, где впоследствии образуются улицы и, например, вдоль канала на прямых подставках стволов зелеными мешками повиснут шуршащие кроны деревьев, а под ними на тонких ножках останутся сухие и узкие, как тела насекомых, скамейки, где, следовательно, будет бульвар и асфальтированные мостовые и выбелит электрический свет каменные фасады домов, эта местность теперь еще перебирает, готовясь уснуть, роящиеся в сумраке замыслы.

И о вечере говорит прохождение поезда с Севера, выносящего из-за леса свой изрезанный окнами корпус. Поезд с силой проходит по мостику, совершенно такой же, каким проходил он вчера. И совершенно вчерашняя прядка красноватых рассыпчатых искр взвеи-

вается из паровозной трубы и осыпается в воду за мостиком.

И о том, что вечер вошел окончательно в возраст, скоро объявят отверстия громкоговорителей, щедро привязанных к телеграфным столбам, когда вдруг с различных сторон, как из кранов, польется одинаковая музыка, открыв на полях, путях и болотах состязание равносильных звуков, прибывших из центра. Но пока еще поле молчит, еще публика собирается в театр, одеваясь, приглаживаясь, внимательно поворачиваясь перед зеркалами, производит в разных комнатах города примерно одинаковые движения, а в темных зрительных залах неподвижно сцеплены стулья, залы выглядят громадными челюстями с деревянными наборами зубов, а в бассейнах оркестров чинно дремлют в чехлах и футлярах безголосые и сухопарые туловища музыкальных инструментов.

Перед площадкой, где никак не может уняться разогнавшийся мяч и уходит прыжками то в один, то в другой угол поля, волоча за собой игроков, пытающихся усмирить его ярость и, подчинив, прогнать сквозь уже воображаемую, невидимую трапецию тонконогих ворот, прогуливаются отдыхающие люди. Прогуливаются застарелые, исконные ломжинцы; то есть, те, кто провел здесь лет пять и застал незапамятные времена, когда над влажной низиной вылавалось лишь несколько железнодорожных домишек. Ломжинцы — прадеды, знающие предисторию края, то есть, период прокапыванья канала, проводившие зимы в холщевых палатках, своими руками ощущавшие подпочвенные грунты мерзлой каменистой земли. Старожилы, первые переселенцы, любящие, собравшись, назвать имена никому теперь неизвестные, первых руководителей и мастеров, перенесших себя в иные пределы союза или даже бывших из числа живых, чьи поступки еще теплятся в памяти только этих немногих людей. Первое поколение Ломжи, способное выделить первый барак из

множества присоединившихся после, знающие канал изнутри, умеющие обсудить его анатомию, различить под гладкой водной массой ряд боковых труб для вбирания почвенных вод и центральную большую трубу, протянутую по дну и открытую внутрь канала. Их воспоминания, пройдя, как рентгеновский луч сквозь формы теперешней Ломжи, освещают сложный костяк усилий и трудностей, поддерживающий современный образ строительства. Очевидцы исчезнувшей Ломжи, они презрительно щурятся, когда вновь прибывшие сетуют на неудобства и неустроенность быта. Для них и теперь уже Ломжа — столица и, свыкшись, они украшают ее неведомыми остальным преимуществами. Они отказываются от путевок, предпочитая новую родину той, откуда они происходят действительно. И это объясняется еще тем, что многие именно здесь разыскали свое настоящее призвание, придя сюда только с запасом физической силы и, по мере разрастания Ломжи, выросли и сами от чернорабочего до знатока причудливых и образцовых машин.

И для этого ядра коренников, в сущности немногочисленного, даже перестающего постепенно пользоваться особенным весом, в торопливой, занятой настоящим, не оглядывающейся на предания и древние были среде, чрезвычайно внятным и близким было имя товарища Ложкина.

Ложкин жил вместе с ними с начала. Он их вел метр за метром по тогда еще сухому ущелью канала. Он довел их до здания фабрики и сберег их, выделив каждому наиболее подходящую роль. Ложкин был им, как родственник, нечто вроде старшего брата. У него с ними общая память. Он сумел их скрепить, когда сошедшиеся по различным поводам и из разных краев они и не предполагали, что найдут единый язык. Ложкин был для них тем же, чем являлся каждый из них для себя, но только в улучшенной степени. Такой же рабочий, мерзший рядом в канале, но знающий кроме

того и конечный смысл их лишений. И главное, умеющий передать им свое знание. Ложкин их же кровей, интересов и навыков, он умел делать все, что и они, но только вернее и правильнее. И в тоже время представлял собой власть, олицетворял собой государство с его далекими целями и, присутствуя в Ложкине, цели эти могли приблизиться к каждому, стать личными интересами всех. К тому же он обладал способностью не подавлять, а повышать значение людей, окружавших его, предъявлять им их же поступки, но в ободряюще увеличенном виде, что пробуждало в каждом доверие к себе, а с доверием и чувство ответственности.

За все это они расплачивались с Ложкиным убежденной любовью. Это не мешало в отдельных случаях рассорится вдребезги и наорать друг на друга. Или поострить на его счет, или попытаться схитрить, отстаивая какую-нибудь незамысловатую выгоду. Но и после скандала, и после разоблачения Ложкиным хитрости, у рабочих сохранялось к нему добродушное поощрительное уважение. Люди даже испытывали удовольствие оттого, что Ложкин не остался в долгу, а успел перекрыть их в споре или ловко вывел на чистую воду. Зато было твердо известно, что Ложкин держит в мыслях любого из них и за каждого заступится грудью. И тоже сделает всякий из них для него, пришедшего сюда свежим и крепким и на их глазах постаревшего, изъеденного длинной болезнью, но неотступно ведущего фабрику.

Сейчас прогуливаются и другие — второе поколение ломжинцев, если считать не по возрасту, а в порядке их появления здесь. Те, кто застал канал уже принявшим воду, а фабрику и электростанцию в виде оформленных зданий. Эти люди поступали вместе с машинами, они принимали огромные дощатые ящики, шествовавшие в товарных вагонах и на грузовых платформах к фабричному двору, ящики, на боках которых

гремели названия иностранных городов и фирм. Эти люди производили вскрытия ящиков и следили, как в морозном воздухе обнажаются зеркальные поверхности валов и цилиндров и снежинки садятся на мерзную, не привыкшую к резкому климату медь.

Для них история Ломжи началась с кропотливого связывания деталей, со свинчивания металлических соединений, пока впервые поданный ток не сотряс меблированные механизмами залы. Среди этих людей было много прибывших с Запада. Их не интересовало прошлое, а для некоторых и будущее представлялось неясным. Но зато им хотелось благоустройства сейчас. Ежедневно, закончив работу, они облачались в нежной шерсти и сложной расцветки костюмы, в башмаки с подошвами твердой резины. Ежедневно скребли они свои одинаковые комнатки, где гостят зябкие ручные растения, лампы накрыты матерчатыми абажурами и даже на отдельном столике можно приметить плоский футляр граммофона.

И еще иные категории жителей существуют сейчас на мостках, на площади, внутри и возле гостиницы. Самым настойчивым в своих проявлениях был, например, состав футболистов. В гимнастерках, майках, рубашках на выпуск, они оглашают воплями вечер. Молодежь, забежавшая в Ломжу недавно. Они не хранят в умах никаких исторических воспоминаний. Неустроенность настоящего им по плечу, потому что под их молодые мерки подходят лишь самые неустоявшиеся проявления жизни. Они перескакивают через уют или через невозможность его сохранить с одинаково независимой легкостью. Но в их мыслях носится будущая Ломжа, плавает неясно и высоко, как неясно и высоко, залетая, парят очертания их собственных будущих участков. И это будущее они разгоняют и выбивают вверх, будто футбольный мяч, что сейчас со свистом заносится над их головами.

И кроме подобных, легко отделяемых наслоений

населения Ломжи, вечер вбирает много других, менее приметных, но разнообразных, столь много, что для перечисления их нужны целые склады обозначений, сравнений и слов.

2

Мальчишкин принадлежал к старожилам. Он шел по мосткам, круглолицый, плотный, степенный. Все ему было известно. Встречные здоровались с ним. Приветствуя их, он поднимал свою полную руку, словно на ладони его оттиснута печать и он ее показывал каждому. Он недавно возвратился из отпуска и, как человек отдохнувший, имел особенно удовлетворенную внешность. Впрочем, удовлетворенность его вызывалась именно тем, что отпуск благополучно закончен. Мальчишкину не понравился юг. Для него, северянина, представлялось естественным, что ежели лето, — ночь пропитана белизной. Сочетание угольно-черного воздуха с распутившейся листвой, с огромными теплыми звездами являлось беспокойным и странным. Мальчишкин с трудом засыпал, и все тело его тосковало о прохладе и светлости севера. Но, как человек аккуратный, он выполнил отпуск безропотно и облегченно вернулся домой. Чувство облегчения не выветрилось до сих пор и, когда вот так, между домами, он двигался по до последней трещинки изученной Ломже, вот так пошагивал по расходящимся доскам, не оглядываясь, но зная, что небо опирается справа на зубчатую подставку соснового леса и ветер с озера перекатывается через плечи и обгоняет Мальчишкина, а тут отбоченные валуны придвинуты близко к мосткам, а вот ребристая клетка сколачиваемой из сосновых легоньких рам новой столовой, а в этом, похожем на сундучок домике проживает он сам, — облегчение и успокоение смыкались в его груди, на момент образуя отражающую тихую среду, подобную плавным водам канала.

Но так чувствовал бы он раньше, может быть, даже вчера, сегодня же не до покоя. Ложкин к вечеру расхворался. Бах, извещенный об этом, заявил, что не будет на фракции, что без Ложкина его доклад бесполезен, что он выступит непосредственно на собрании. Доклад, не заслушанный фракцией. Мальчишкину предстояло председательствовать. Собрание не могло быть спокойным.

Мальчишкин основательно задумался. Он верил в необходимость Ломжи и в то, что правильно возникла она, что ее болезни не страшны. Бах твердил о другом. Прав ли Бах до конца? Бах обращался с Ломжей небрежно. У Мальчишкина иногда сжималось дыхание. Так бывает с родителями, знающими все свойства ребенка, — как легко причинить ему боль, чем его удастся обрадовать. И вдруг чужой, схватив его на руки, грубовато оглядывает, вертит перед глазами. Это все для пользы ребенка. Но прав ли врач до конца? Ведь он не любит ребенка и, значит, не все может в нем разглядеть.

А тут дело осложняется Ложкиным.

Мальчишкин не раздумывал раньше, авторитетен ли для него этот старший товарищ. Но вне Ложкина он не мыслил своей здешней работы. Они действовали нераздельно. Ложкин вовсе не вел его за руку, но одновременно поворачивались они в одну и ту же сторону и там легко различали одну и ту же тропинку. А теперь предстояло разрешить разномыслия Ложкина с Бахом. Бах тоже не случайный прохожий. И к тому же в решениях не должно быть оттенка личных привязанностей.

Мяч взшел почти по прямой, постепенно утрачивая быстроту. Окончательно отяжелев, он остановился на мгновение в воздухе, будто его подпирал прямой невидимый шест. И тут же, остановившись, мяч с шеста соскочил. Он стремительно рвался к земле, к черной крутящейся воронке сбившихся человеческих тел. И площадка рвалась к мячу, стремясь взять его как можно скорее. Это видел Мальчишкин и, подобно многим дру-

гим, подчиняясь особому тяготению, исходившему от площадки, мяча, игроков, механически переступил с мостков на рыхлую росистую землю и подошел к низкому барьеру, отделявшему футболистов от зрителей.

Он проходил мимо темных фигур, стоящих то в одиночку, то группами. Ему хотелось отыскать кого-нибудь особенно сведущего, кто бы мог с ним поделиться советом. Он скорее угадывал, чем различал знакомые лица, то молчащие, то растянутые смехом, то издающие громкие фразы. Но и веселость их, и спокойствие не имели отношения к раздумьям Мальчишкина так же, как беготня играющих и воздушные переезды мяча с одного края поля к другому.

И тогда Мальчишкин понял, что сердится. Давно уже обозлен: самим собою, Ложкиным, Бахом. Его раздражает возня футболистов и ленивое глазение зрителей. Неужели им всем безразлично, что с Ломжей стало тревожно? Или так уже верят они в незыблемость Ломжи, как верил он сам до последнего времени? И особенно Ложкин, как он смел заболеть! Да и раньше не объяснил до конца своего отношения к бригаде, то посмеивался, то отмалчивался. Нет, надо увидеться с Ложкиным. Тут не может быть недомолвок.

Он почти наткнулся на Сиверса.

Тот стоял, широко расставив ноги, плотно втиснув руки в карманы. Он раскачивался, даже насвистывал, хотя лицо его было мрачным. Новая твердая шляпа отброшена на затылок, широкая полоса шелкового кашне двумя неровными концами стекала под расстегнутым пиджаком. Вид Сиверса был боевой и решительный. Сиверс выпятил грудь.

— А, Мальчишкин! — произнес он, заступая дорогу.

— Здорово, — ответил Мальчишкин и по обыкновению поднял ладонь.

Он пытался пройти, но Сиверс взял его за плечо.

— Гуляешь, Мальчишкин, — говорил он, наклоняясь и вглядываясь. — Ничего, ничего, правильно. Я тоже гуляю.

Мальчишкин поднял глаза. Его удивила упрямая разговорчивость Сиверса.

— Все гуляют. Всем весело. Хорошо. Мне весело тоже.

— Да ты пьян! Чорт подери! — изумился Мальчишкин.

— Я пью, но пьян никогда не бываю, — громогласно ответил Сиверс. — Я могу идти на работу. Разве так поступают, Мальчишкин? Подойти и дать скорость. Скорость мало поднять, скорость надо уметь удержать. Разве я не беспокоюсь о скорости, он один успокоится разве? Все гуляют, даже ты гуляешь, Мальчишкин. И тебе хорошо. А кто думает о работе? Я один здесь стою и думаю. Эти парни играют в футбол. Им все равно. Им плевать на всякую скорость.

— Ну, ну, ну, — заворчал Мальчишкин, не улавливая, что готов возразить на свои, только что пробежавшие мысли. — Никому не наплевать. Пусть играют, им нужен отдых. Физкультура. — Мальчишкин наморщил лоб, ловя подходящие определения. Но вздохнул, ничего не поймав. — Мы все беспокоимся, Сиверс. Хорошо, что ты беспокоишься. Играем в футбол и беспокоимся тоже. Это верно, это я тебе говорю.

Сиверс всматривался с усилием в Мальчишкина, ухватив его за плечо. Будто не слова, а то, как движутся губы собеседника, как растягивается кожа лица, могло его убедить.

— Я сумею скорость держать, — сказал он опять и поднес руку к лицу Мальчишкина, словно здесь, на ладони, трепетала и переливалась, как ртуть, эта искомая скорость. — Я хороший мастер? Я нужный мастер Республике? Скажи мне, Мальчишкин, как ты судишь обо мне как о мастере?

— Ты настоящий рабочий, — твердо ответил Мальчишкин. — И я удивлен, почему ты так взволновался.

Он отступил от Сиверса и подождал, но видя, что тот отвернулся и опять исследует мяч, в последний раз

черной гирей погружавшийся в жидкое небо, втянул голову в плечи и рысцой затрусил по траве. Только б не опоздать. И уже позабыл разговор.

3

Окно слабо освещено изнутри. Горит настольная лампа. Зеленый ее абажур крадет яркость света. Свет становится блеклым и пепельным. Ложкин лежит на диване под пледом. Он один. Обитающая с ним ветхая тетка, неизвестно как сохранившаяся отдаленная родственница, отправилась неизвестно куда по своим загадочным нуждам.

Мальчишкин попробовал постучать, но ему никто не откликнулся. Тогда, потоптавшись перед дверью, он проник осторожно в комнату. Он готовился крикнуть по привычке: — Здорово! — но тишина остановила его. Занявшая все углы тишина, будто в прочные невидимые футляры заключившая каждый предмет. Мальчишкин переступил с ноги на ногу.

— Ложкин, ты спишь? — спросил он и стих. Ему захотелось уйти и стало очень тоскливо. — Что с тобой? Почему ты молчишь? — сказал он вполголоса и тихо-тихо опустил кейку на стол.

Ложкин не спал. Он слышал, что его навестили. Он даже определил имя гостя. И все, что принес с собой человек, все, что он сейчас значил. Пожалуй, даже все его намерения достигли до сознания Ложкина. Он разглядывал их с особенной ясностью (так бывает в бреду), словно они в виде цветных фигур и узоров отделились от тела Мальчишкина и висели перед глазами. И все же, и эти намерения, и сам образ пришедшего существовали чрезвычайно далеко. Будто Ложкин о них вспоминал, и они обладали только реальностью памяти.

Дело в том, что, вернувшись с работы, он совсем расхворался. Горлом сильно хлынула кровь. Он знал,

что нельзя заболеть, — надо позже идти на собрание. Он твердил себе „надо“ с такой упрямой настойчивостью, что оно осталось в мозгу — оголенное, лишенное содержания ощущение безличного долга. „Надо, надо“, бормотал он, присаживаясь на диван. Что собственно надо, он уже не мог различить. Долг висел над ним, один из многих долгов его, подобно подъемному крану. И он должен схватиться за крюк, на цепях спущенный сверху. И тогда долг потянет его, кран уже приближается. Но еще не сейчас. Еще есть свободное время. И он вытянулся на диване. Он знал, что температура поднялась по тому, как воздух стал легонько шуметь, а предметы стали тягучими. Их границы терялись, исчезала рельефность. Будто их подогревали, и предметы собирались расплавиться. Мягкий стул, липкий стол. Если их коснуться рукой, на поверхности останутся оттиски. Воздух тихо шипит, словно кружится в стенах. Обладающий собственной жизнью, населенный шелестом воздух.

Ложкин думал, что он умирает, что это весьма вероятно. И, возможно, произойдет таким вот упрощенным способом. Именно, в таком одиночестве, в тоскливом припадке удушья, когда старуха уйдет, — куда она собственно делась? — когда все отойдут, и он будет дрогнуть один. Дрогнуть и нагреваться, сжиматься и расширяться. Пока при одном из судорожных расширений мозг не лопнет, как шар. Только жажда сушит все внутренности. Куда же пропала старуха?

Замечательно, до чего он прежде мало думал о смерти. Видевший ее столько раз, направлявший к смерти других. Значит, все-таки она существует. И имеет отношение к нему, не к другим, третьим, десятым, а непосредственно к Ложкину. Впрочем, что значит Ложкин? До чего он мало помнил об этом. Он не мог собрать себя воедино.

Будто под случайной вывеской — Ложкин — обитала целая республика существ. Так казалось в бреду. Он

давал им пристанище в своей оболочке. Существа, толкавшие его изнутри, те — к работе, те — к удовольствиям, эти — к злобе, иные — к любви.

Он таскал их в себе запакованными, придавая им какую-то общую форму. И они подчинялись, тесно лежавшие в нем, пока он оставался здоровым. Он не знал о них ничего. Не знал, что одних он вырастил сам, других оставил без пищи. Иных он принес еще с детства, может быть, получил от родителей. Как их много и как они разны. И теперь они пробудились. Разбегались в разные стороны. Носители чувств, еще имеющие подобие образа. И вовсе непредставимые, безтелесные, безликие, управляющие движениями рук и ног или работающие с сердечною сумкой, сокращающие стенки желудка. Огромный возмущившийся город. Они отделялись от Ложкина. Они хлопотали вокруг. Ими наполнился воздух. Вот отчего он шумит.

И то, что они вошли в стены, в стулья, столы, частью ушли так далеко, что их нужно разыскивать вне пределов земли, может, именно это и есть умирание. Его первая стадия, ибо оно отнюдь не мгновенно. Это знал уже Ложкин по опыту. С каждым припадком он придвигался к исчезновению на шаг. И прошел не мало шагов, и еще в запасе большие пространства. Правда, бывает, что их пробегают в самый стремительный срок.

Но чем дальше, чем бесцеремоннее расходились по сторонам существа, составлявшие Ложкина, тем страннее становилось ему, — что ж он все-таки сам по себе? Он не жалел уходивших. Это только случайные гости. Любовь к сладкому, например. В нем жило и такое явление. Приютившееся издавна чувство, свившее гнездо в его теле. Оно теперь ускользнуло, хотя и не столь далеко. Его можно, казалось, найти еще в комнате. Оно не принадлежало Ложкину и ничьей не было собственностью. Возможно, и раньше обитало одновременно во множестве тел. Ложкин не породил его и не имел власти его уничтожить. Но, уйдя из него, оно словно оставило в нем

пустую дыру. В том месте, где оно прикреплено было к Ложкину. И теперь он весь состоял из пустот, из отверстий. Это тоже, должно быть, одна из фаз умирания.

Да и был ли он вообще? И здесь начиналось страдание. Может, весь он сплошная дыра, огромная воронка, которую не забросать никаким содержимым. Только граница пустого пространства. Тонкая стенка между двумя сплошными провалами, — провалом внутри и провалом снаружи. Есть ли он сам где-нибудь? Стенки воронки вращались. Вот отчего шипит воздух.

— Пить, — сказал он и заметался, как рыба. Где же старуха, куда она забралась?

И над бездонным провалом, которым себя ощущал он тогда, гремющей массивной тенью, напоминающей очертания подъемного крана, медленно двигалось оголенное сознание долга. Как нечто высшее и нечто единственное, сохранившее прочную форму. Не поддающееся разрушению. Само о себя опирающееся, в то же время порожденное Ложкиным. Распростертый кран, крылатая мощная клетка, проползающая над двумя пропастями, — над пропастью жизни и пропастью смерти.

— Пить, — повторил он и поднял руку, чтобы схватиться за крюк, на гремющей цепи опущенный с крана.

4

— Нет, нет, ты не вставай, — подбежал к нему тотчас Мальчишкин. — Я тебе принесу.

Он затормошился по комнате. Затем бросился в кухню и вернулся оттуда, держа перед собою стакан. — Ты лежи, я вызову доктора.

Ложкин проглатывал воду с усилием. И она, словно балласт, загружала тело его и спускала на землю сознание.

— Ничего, — сказал он и откинулся опять на подушку дивана. — погоди, я тебе сейчас расскажу.

Мальчишкин примостился на стуле. Он забыл, что явился с вопросами. Он сидел и разглядывал Ложкина. Так вот оно что происходит. Ведь ему же было известно, что Ложкин серьезно болеет. Все вспоминали об этом, чтобы тотчас забыть. Похворает, выедет в отпуск, а потом опять возвратится. Ну, а если не так уж все просто? Мальчишкин не мог собрать мысли. Он слишком верил в здоровье. Понимал здоровых людей. Он сидел оглушенный, готовый сам заболеть. А что же Ломжа без Ложкина? Без уехавшего не в отпуск, не даже вовсе уехавшего, но без Ложкина выселившегося из жизни совсем? Мысли пылали в Мальчишкине. Слова неуклюже вертелись, случайные, неизвестно как забежавшие в голову.

— Товарищ дорогой... — хотел он начать, но молчал. Ничего-то не мог он сказать.

— Ты помни одно, нет незаменимых людей, — произнес медленно Ложкин.

— Как? — Мальчишкин подался вперед.

— И тебя, и меня легко заменить. Ты с этим никогда не считайся. Нам кажется, вот мы уйдем, и дело погибнет. Дело никогда не погибнет. Когда оно держится массами.

— Да, — закивал Мальчишкин. Но тут же нахмурился снова. Он еще не различил, куда направляется Ложкин.

— Только надо заменять осторожно. Заменять лучшими силами. А пока тебя не заменили, сам не уходи. Это просто сказать, я не умею, делайте, как вам нравится. Надо стоять до конца. Не умею, а все-таки делаю. Пока другой не придет. И ты не волнуйся, Мальчишкин. Будет нужно и снимут меня. Вот сейчас чуть было не сняли. — Он едва улыбнулся. — Но ты пришел и отложили как будто. И пока не сняли меня, я сам не уйду. И буду работать, как мои глаза видят. У меня же свои глаза. Я ими смотрю. Пусть вставят мне другие глаза. Я буду видеть иначе. Я про них не скажу, про глаза, что они самые лучшие. Выньте их, давайте другие. Я тогда скажу,

что ошибался. Это не трудно сказать. Это очень хорошо самому увидеть ошибки. Но еще мне не дали других.

Ложкин остановился. В груди заскрипели колеса. Как в часах, дребезжали пружины и, как бой, отмечающий время, застучал отрывистый кашель. Потянувшись к станку опять и капая водой на рубашку, он сказал Мальчишкину просто:

— Ты против меня выступай, если тебе покажется нужным. Ты не думай, чтоб я обиделся, — он вдруг засмеялся. — Мы стрелять друг в друга должны, если это нужно для дела. Друг в друга стрелять и не обижаться при этом.

— Ну, а Бах? — отозвался Мальчишкин.

— Что же Бах? Что тебе нужно от Баха? Что на фракцию он не пошел, это, действительно, плохо. Бах смотрит сверху, я может снизу смотрю. Ну, а Левин, тот бы стоял в середине и во все стороны видел.

Мальчишкин заулыбался. Ему сделалось легче. Не оттого, что Ложкин объяснил ему нечто. Но над чувством личной ответственности всплыло ощущение целого, Ломжи, окружающей их, им и многим порученной партией. Он поднялся, готовый к поступкам. Ему захотелось сказать что-нибудь доброе Ложкину.

— Ты лежи, ты не беспокойся, — одобрительно забормotal он. — Ты хороший парень, Ложкин, — и припомнив, что тот нездоров: — Ты смотри, не вставай, не ходи на собрание. Тебе это нельзя. Мы проведем без тебя.

— Надо только все отдавать, — сказал чужим голосом Ложкин. Далеким голосом, обращаясь, возможно, к себе самому. Он устал, и комната снова расширилась. Потолок откатился под небо, стены ушли к горизонту. И его бесконечное тело тянулось с востока на запад, равное телу земли, может, даже выдающееся за земные края. И опять не Мальчишкин сам, а все то, что в нем заключалось вибрирующей разноцветной пленкой, будто вздуваемой ветром, колыhalось перед глазами.

— Надо все отдавать. На фронте жизнь отдавали, — говорил Ложкин в пространство.

— Да, да, да, — отвечал Мальчишкин откуда-то сбоку, из воздуха.

Воспаленное лицо Ложкина светилось перед ним на подушке. Он развел руками в отчаянии. Хоть старуху надо прислать.

— До свидания. Я к тебе зайду после.

Товарищ дорогой, — захотелось ему произнести неподатливые, неизвестно как посетившие его мозг слова. Он, возможно, сказал их, но не слышал ответа, пятясь и разминая кепку руками, перебрался через порог.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Бах раскрыл чемодан. В чемодане дремало белье мерцали бритвенные принадлежности. Несколько пестрых коробок с запасенными в Москве папиросами. Флакон заграничных духов пропитывал все нежно-теплым ароматом. Бах ценил чистоту и был очень брезглив. Многолетняя жизнь за границей воспитала в нем чувство опрятности.

Поезду надо заканчивать. Дело только за резолюцией. Провести ее на общем собрании. Это нужно для доклада в Москве. И тогда он едет хоть завтра. В крайнем случае оставит Зеленского. Может, и не к чему было так обострять положение? Но он должен восстановить репутацию. Он извлек английское зеркало с увеличивающей стальной поверхностью. Усмехнулся, и усмешка его опустилась в отражающий диск. Он зевнул, и его увеличенный рот раскрылся красной воронкой.

— Дураки. Он им покажет.

Он смахнет кого надо с постов. Произведет перетруску. Может, перепуганная фабрика вправду будет лучше работать. Лучше работать на время, пока снова не завязнет в препятствиях.

Шелковую рубашку, вывезенную из Парижа в последнюю командировку, лиловую, играющую искрами ткань, Бах набросил на плечи. Бах привык жить за границей.

Там и раньше пришлось задержаться ему вплоть до дней революции. Он скрывался от ссылки на Западе. Там исследовал ход европейских рабочих движений. Изучившему Маркса и Энгельса в подлинниках, ему ли было не знать — революция пробьет, как часы. Он готовился к будущей деятельности и осматривал придвигающиеся события, как осматривают квартиру, в которой предстоит поселиться. Политика — это платформа для расстановки огромных возможностей. Политика — это власть. Бах лелеял предчувствие власти.

Попав в Россию в семнадцатом, он рассмотрел обстановку. Без малейших раздумываний расстался с интернационалистами, твердо войдя в большевизм. Тут началось восхождение.

В комнату постучали. Бах завязал плотный галстук. Шахматного узора жилет тепло охватил его торс. Бах походил на арлекина, полнеющего и пожилого.

— Войдите, — разрешил он Зеленскому.

Зеленского он не любил, но терпел. Тот снимал столько забот. Без подхалимов нельзя, — определял положение Бах. Да еще без таких, как Зеленский, подхалимов-идеалистов, ради вымышленных ими самими высших соображений готовых расстелиться у ног.

Зеленский, как всегда, волновался. Бах взглянул на него, как на насекомое, трепещущее непрочными членами, собирающееся ежеминутно подпрыгнуть. При всей жизненности, до нельзя хрупкое. Слозвно ничего не стоит, потянув его за руку, вырвать ее из плеча. Открыть ему все конечности, посадить его на булавку.

— Ну, — обратился Бах.

— Простите, я на два слова. Мне хотелось перед собранием...

— Ну, — Бах закурил.

Он смотрел мимо Зеленского, как привык вообще смотреть мимо людей. Он видел окно, задернутое в нижней половине неопрятной, усыпанной ржавыми пятнами занавесью. В верхней части окна над этим белым щитом

затвердели сизые сумерки. Они дошли до той прочности, когда трудно ждать их изменений. Ночь почти не нарушит их цвета. Разве только большую тяжесть им придаст предстоящая ночь. Бах смотрел на окно и на стол, что выглядел продолжением подоконника. Ровный стол без бумаг, без брошюр. Лишь блокнот прилег на клеенку, принимая электрический свет на лист скользкой, как алюминий, бумаги. Лишь синеватый ствол Паркера да короткий светлобокий револьвер, как символы войны и мира, отмечали границы стола.

Оставаясь с Бахом наедине, Зеленский обычно терялся. Представлялось ему, что любое его сообщение Баху известно заранее. И, следовательно, несмотря на стремление принести полную пользу, лишь половинными услугами он может порадовать Баха.

— Я сейчас с фабрики. Там произошла катастрофа.

— Пустяки, — сказал Бах, — один дефибрер поломался.

— Вы уже знаете, — поднял руки Зеленский.

Бах не стал объяснять, что звонил ему недавно Садовников.

— Дефибрер поломать умудрились. И знаете, как это вышло? То есть даже, если вы знаете, я хотел бы все-таки высказаться.

— Пожалуйста.

Зеленский поправил пенсне и снизил голос до шопота.

— После той истории днем, когда мы с ним столкнулись, Васнецов увеличил скорость машины.

— Громче говорите, — лениво перебил его Бах.

— Хорошо, — решил Зеленский, но все же оглянулся на дверь. — Васнецов решил отыграться. Это ясно. У него соображения простые. Перед собранием, где, конечно, пойдет о нем разговор, он скорость повысил. Чтобы вечером преподнести, что напрасно на него нападают. Всю вторую смену машина шла с высокой скоростью. Тут игра безошибочная. Внимание он отвлек бы конечно. Его начали бы поздравлять, резолюцию подходящую

вынесли б. Значит, весь вопрос о нем смазан. Так я думаю, товарищ Бах?

Бах на этот раз посмотрел на Зеленского прямо. Ему стала любопытна столь беззаветная преданность. Зеленскому не приходило в голову, что возможны иные объяснения. Его логика крепла враждой к Васнецову. Но откуда такая вражда? У Зеленского нет личных поводов. Значит, только из верности Баху, из желания ему услужить.

Бах решил его подразнить.

— Ну, зачем же все в таком черном свете? Представим себе, Васнецов наши указания принял. Ведь мы же толкуем в газете о скорости. Васнецов убедился и поднял.

Зеленский весь покраснел.

— Нет, нет, нет Васнецов спрятаться хочет. Васнецов чужой человек. Я показывал вам сегодня бумаги о нем. Он все время был против нас. Я в этом вполне убежден. Это интеллигент, Васнецов.

Зеленскому вдруг показалось, что и сам он, и Бах — чистокровнейшие пролетарии.

— У меня есть новые данные. Тут вернули вагон бумаги сейчас. Потому что послан был брак. Васнецов послал брак на адрес центральной газеты. Это прямо вредительство. Мне Садовников сейчас рассказал.

— А, Садовников...

— Ну так что ж, Садовников? Он, конечно, тоже чужой. Но он приближается к нам. Разве можно хоронить живым человека? Он способен переродиться. Но, конечно, главное — факты.

— Факты, да... Но мы отвлеклись.

— Так вот, я говорю, Васнецов хотел отыграться. Я прямо скажу вам, товарищ Бах, хотя это возможно и странно звучит. Но я скажу откровенно. Может, вышло бы очень плохо для фабрики, если б опыт Васнецова удался. То есть если б он благополучно работал сегодня на этой притянутой скорости. Мы тогда бы его не поймали.

— Да, вы правы, странная мысль. Но опыт не удался. Зеленский осел и обмяк. Он стал воплощением растерянности.

— Но это тоже не лучше, — произнес он и уставился Баху в лицо.

Бах стало забавно. Впрочем, здесь вина Ломжи. Этой крохотной Ломжи, куда Бах невольно попал. Маленького пустякового места, суживающего интересы. Стоило ли заниматься Зеленским? Но сейчас ему было забавно. Неужели же преданность может быть столь восприимчивой, что подобный несложный Зеленский способен воспроизвести в себе все процессы мышления Баха. Ведь все, что он изрекает, это в сущности лишь отпечаток Бахом невысказанных слов. Будто граммофонная пластинка, доставляющая в точности ей сообщенные звуки. Но всего интересней, что Зеленский ловит мелодию не существовавшую физически в воздухе. Бах решил проверить Зеленского.

— Почему же плохо, если опыт Васнецова не вышел?

— Да потому, что теперь на собрании что будет говорить Васнецов? Что мы вынудили его повысить преждевременно скорость. А машины к тому не готовы. О машинах он может сказать что угодно. Он докажет, что они скорость не выдержали. И значит, все же он прав, когда он не гнался за скоростью.

Бах остался доволен. Ответ был дан безошибочно. Бах словно опустил в автомат гривенник и из надлежащего отверстия выпал перонный билет. Однако, однако, Зеленский! Бах встал, улыбаясь. Он готов был похлопать Зеленского по плечу, и тот почувствовал теплые токи. Они оба освещали друг друга улыбками, не вполне обоснованными в предыдущих словах, но один одобрял а другой принимал одобрение.

— Значит, чай пить пойдем, Зеленский? — пропел Бах своей фистулой.

И Зеленский согрелся совсем.

— Ну, конечно, конечно, надо перед работой поесть.
— А то, что вы мне сказали, — тянул Бах, заправляя Паркер в пиджак, — это все возможно и верно. Может, так Васнецов и считает. Но ведь мы это знаем заранее. Мы же видим насквозь Васнецова.

2

В столовой дымно и шумно. Эта маленькая комната со стеклянной перегородкой, за которой помещался буфет, комната, чьи стены блистают голубой масляной краской, а высокие окна укрыты негнушимися складками яркочерного коленкора, — к вечеру отяжелевала от груза людей за столами. Ее неопытный разноцветный уют, поддерживаемый вершинами искусственных пальм, топорщащих клейкие мертвые листья, притягивал жителей Ломжи. Сюда, в столовую, в рассчитанную главным образом на приезжих и более дорогую, чем прочие, являлись не в промежутках меж сменами, а провести беззаботный вечер, поглядеть на новые лица. Здесь был принят чистый костюм, тут рождались беспечные позы. Здесь естественно не торопиться, обмениваться последними слухами. Только здесь на всем протяжении строительства продвигалась в стаканчиках водка, потребляемая местными жителями, главным образом, налитой в чай. Смесь носила название „русского чая“ и глоталась с приправою перца.

И чем глубже был вечер, чем зычней крепились беседы, тем надышанней и горячей становился прокуренный воздух. Кое-кто подремывал сидя, кое-кто бродил между столиков. В обоих случаях равнодушные девушки в белых халатах с жестами больничных сиделок набивали посетителю кепку на голову и вытряхивали пьяного в ночь.

Вечер был еще молод, когда пришли Зеленский и Бах. Столовая не успела еще закипеть и ее содержимое шевелилось тихо и чинно. Столовая пребывала

в состоянии вежливого самодовольства. Посетители находились в том градусе, когда каждый расположен к себе и хочет быть приятным соседу. Благие намерения, украшающие общежитие чувства, — снисходительность, предупредительность, полная готовность к услугам — реяли и циркулировали, обласкивая вновь входящих.

Зеленский и Бах разыскали столик в углу. Люди извинялись, уступали дорогу. Беспричинные улыбки, поклонны, приветствия были предложены целым букетом. И по теплому ковру общей доброжелательности члены бригады добрались до мест.

Баха это тронуло мало. Он успел впасть в равнодушие. Даже раскаивался, что поощрил слишком явно Зеленского. Он присел к столу, не оглядываясь, и спросил водки и шницель.

Здесь все было жалким ему. Аляповатая комната. Алкогольная фамильярность соседей. От его глаз не укрылось, что столовая грязна и бедна. За раскрашенными стенами он ощущал унылое давление темных пустынных пространств. Унылые, населенные ветрами земли, тащили на себе эту крохотную, пропитанную испарениями человеческих тел коробку. Тащили Баха, схватившегося за неустойчивый столик, волокли неизвестно куда. И все обстояло бессмысленно. Жизнь шла не так, как хотелось.

Пройдя по кругам гражданской войны и по мере прохождения все возвышаясь, Бах потом работал на Западе. Это ему подходило. Там, в привычной для него обстановке, он умел применять свои знания. Ну, а здесь? О, как все это мелко!

Его ум изоощрялся в общении с представителями государственности Западе. Бах умел носить свои звания. Ему нравилось разрушать в политических европейских кругах представление о большевике, как о рослом парне с дубиной. Безупречно одетый, с отличной английскою речью, он заставлял себя слушать при ди-

пломатических встречах. О нем писали в газетах, его мнения принимались в расчет.

Но случилось, что он возвратился в Союз. Его встретили с честью. Наделенный квартирой в Москве, обставленный добрым вниманием, он занял место по праву. Работал вполне безупречно.

Здесь не важны подробности. С ним могли не согласиться в отдельном каком-нибудь случае. Наметить направление поступков иное, чем выбрал он сам. Наконец, просто дали понять, что заслуги — не вечная рента и не только вправе он требовать, но обязан и подчиняться. И что не личная воля, но коллективные замыслы выравнивают развитие дел. И есть партия, наконец, и ей отвечать он обязан.

Разве Бах не знал всего этого раньше? Разумеется, знал, но он мерил себя крупной меркой. Что годится для рядовика, не могло простираться на Баха. И когда по началу весьма осторожно ему пробовали указать на для всех непреложные рамки, он отшучивался или сердился, или сетовал на бюрократизм.

Этот термин пришелся по вкусу ему. Тем более, что, и правда, не мало, песка тормозило вращение учреждений колес. Но Бах был излишне брезглив, чтобы взяться за тряпку для чистки. Миросозерцанием отделенный от политиков Запада, он смыкался с ними своею природой. Он больше любил управлять, чем работать.

Сначала тенью бюрократизма ему показался укрытым узел тех учреждений, где он непосредственно действовал. Дальше тень все шире расплывалась. Бах смотрел недоброжелательным взглядом и везде отмечал неурядицы. Восприятие неурядиц впадало в обиженность личную. Облаком бюрократизма заволакивал он всю систему. Весь порядок показался ему одной громоздкой ошибкой.

Тут он вообразил, что во всех своих прежних удачах был повинен он сам, а не партия. Бах таил про себя свои мысли, но молчание его вскоре встрелось

со словами отдельных товарищей. Бах не остался один, Его увлек и самый процесс политической обходной борьбы, сходный с тайными играми политиков Запада, и надежда на выигрыш, ставящий Баха на вполне бесконтрольное место.

Но, как вся эта группа, Бах ошибся в расчетах. Втягиваясь в борьбу, Бах считал ее пустяковой. Победа оказалась лежащей поблизости. Уже в разгаре событий Бах понял, что наткнулся на стену. То, что он представлял фанерною ширмой, оказалось массивной твердойней. Массы, о которых он мыслил в кавычках, считая их безголосыми, оглушительно заговорили. И так, что от одного их дыхания пришлось в смятении попятиться. Бах запомнил цех, где однажды он выступал. Закопченное стеклянное чрево. Колоссальная черная пещера, где неяркими желтыми дырами означался ряд электрических ламп. Где станки, краны и лестницы шевелились от насевшей толпы. Тонкий голос Баха терялся. Он мерцал слабо, как спичка, и был тотчас накрыт, будто шапкой, тяжелым войлочным гулом. Здесь не поцеремонились с Бахом. Тут напирали стенки, грохотали проходы, кран громыхал голосами. Весь цех ревел, как труба. Бах стоял внутри этой трубы. Его выдувало отсюда наружу. Напрасно сторонники Баха пытались загородить его частоколом прошлых заслуг. Каждое напоминание о них сбрасывалось вниз, как пустая бутылка. И разбивалось в осколки. Чем значительней обрисовывалось прошлое Баха, тем беспощадней судилась его настоящая роль. Выражения не отбирались. Тут досталось всему — его голосу, внешности, манере высказываться. Словно поезд наехал на Баха. Поезд, который вез бы его бережливо, если б Бах не выскочил из вагона и не вздумал останавливать бег его фразами.

Баха исключили из партии. Он заперся дома, пытаясь срастить в одиночестве переломанные крушением кости. Были длинные месяцы, непривычные по своей пустоте.

Бах лишился работы. Он полеживал и размышлял. Было чувство бессилия. Удивительнее всего, что вокруг ничто не нарушилось. Имя Баха исчезло с газетных столбцов, не скрепляло очередных постановлений в бывшем его учреждении. И никто не находил в том пробела. Дни проходили сквозь Баха, ничего от него не беря, ничего ему не вверяя. Бах не участвовал в них, и они не жалели об этом. И тогда понял Бах с присущей ему беспощадностью, что никто не придет его звать и не на кого ему опираться.

В нем произошел перелом, подкрепляемый материальными трудностями. Бах столкнулся с вопросом о средствах. Началась распродажа вещей. Сохраняя внешнее спокойствие, но внутри отравленный желчью, он спускал приобретенный за границей товар. Кое-кто из друзей снисходительно приобрел его пишущую машинку, удивительные бритвы и отборные вечные перья. Бах ненавидел людей, у него отнимавших имущество. Он столкнулся и с перекупщиками, обнюхивавшими квартиру, спешно оголявшими комнаты. В подобном положении не было ничего героического. Не оставалось сознания даже своей правоты. Ведь Бах не страдал за идею. Это было ему вовсе несвойственно. Никакие высокие чувства не согревали его. Он просто неловко играл. И теперь расплатился за это.

Бах принял позу смирения. В целях полного правдоподобия он разыгрывал ряд колебаний. Нужно не слишком спешить, но не чрезмерно затягивать. Заявление Баха имело не общий характер. Налет мужественности его покрывал привлекательным гляncем. Бах вернулся к работе. Он не выказал непристойной радости. Бремя прежних ошибок, казалось, тяготило его. Но он был опять на дороге. Баха снова приняли в партию.

Он являл собой нового Баха, ручного, простоватого. Не брезгующего мелочами, не стремящегося к первому плану.

— Заведующий Районо, — издевался он сам над собой. — работник в масштабе Жакта.

Бах пытался внедрить в сознание всех свой вновь изобретенный образ — человека прямолинейного, готового к решительным выводам. И умеющего, опять-таки не забегая вперед, — усмотреть в иных те пробелы, в которых он сам уличен был когда-то.

Он еще подождет. Он готов пока принимать поручения. Он еще не вполне обеспечен доверием. И поездка в Ломжу — одна из последних проверок.

Впрочем, глубже еще и опасней с ним произошел перелом. За честолюбивыми планами в душе проступала апатия. Ну, возможно немного подняться. Но кропотливая игра и не занимателен выигрыш. К рулевому колесу государства ему никогда не пробиться. Появились новые люди, преимущественно из рабочих. Второй призыв революции, одержимый идеей строительства. Стоит ли с ними тягаться из-за лишней ступеньки. Во всей системе, в ее материале было нечто упраздняющее личное честолюбие. На верху мог оказаться забывший себя целиком.

Но сегодня он борол свою скуку. Скуку, заставлявшую Баха мечтать. Да, его посещали мечты. Он мечтал с едкой иронией. Об особом, но несомненно парламентском строе, о парламентских учреждениях, где обилие партий и мнений, коммунисты занимают видное место, и Бах удивляет буржуазных политиков, он их держит в когтях своей логики, и его выступления раздуты ветрами газет. Бах ценит крупных и ловких противников, противники уважают его. И после разговорных боев, где хитрость соперничает со встречною ловкостью, Бах отдыхает в удобной обители, напоминающей загородные дома англичан. И какая-нибудь отборная женщина украшает вечерние залы опасной своей красотой.

Но сегодня он справится с Ломжей. Он ее проветрит насквозь. Хотя бы за то, что такое количество дней претендует она на внимание Баха, и он вынужден разбираться в запутанной местной возне.

Зеленский сидел рядом с Бахом, будто у подножья скалы. Скала не угрожала обрушиться. На этот раз она защищала Зеленского. Он прислушивался к раздумиям Баха, не зная их содержания. Зеленский помещался в их атмосфере и боялся пошевелинуться. Но вот принесли шницеля.

Две тарелки хлопнули о стол.

подавальщица небрежно раскинула потемневшие ножи и вилки. Стук посуды вернул Баха в столовую. Бах стал расщеплять затверделое мясо. Зеленский заговорил. Он будто спрыгнул в пропасть, но не разбился, а плавно парил над провалом. Его окрылял самый факт совместного пребывания с Бахом. Обсуждены повседневные темы, можно тронуть более скрытые. Зеленский сам не заметил, как успел он решиться.

— Товарищ Бах, — произнес он, не прикасаясь к еде. — Я давно хотел посоветоваться. Ведь вы меня знаете, товарищ Бах.

Бах жевал и молчал.

— То есть я хочу сказать, вы, конечно, знаете меня мало. Но, я думаю, это не мешает вам видеть...

Зеленскому хотелось выразить, что он надеется на проницательность Баха.

„Надо только беречь свое место, — думал Бах, разгрызая жаркое. — Есть квартира, будем ее обставлять. Есть возможности развлекаться. То раздобудешь редкий радиопреемник, то наткнешься на старинную мебель. Или купишь породистого щенка, чтоб потом обменять его на несколько граммофонных пластинок. Наконец, приобрести автомобиль, пользуясь прежними связями. И тогда исчертишь Москву, прошьешь ее насквозь — и на загородную дачу к товарищу. Дни покорно сменяются. Большого нельзя получить. Да, и есть ли оно, это большее?..“

— Вы знаете, что все мои силы устремлены в одну сто-

рону. Я не скрою, я много ошибался. Я прошел период колебаний, свойственных интеллигенции. Но это было давно. Я — советский человек. Об этом сейчас смешно говорить. Теперь все — советские люди. Но это для меня не слова. Я могу сказать партии — возьми меня и распоряжайся со мною, как хочешь. Все мое достояние, даже жизнь...

Бах взглянул с интересом. Зеленский вовсе не лгал. Его голос дрожал, пробиваясь сквозь разросшийся в комнате шум. Среди возбужденных голосов самым пьяным был голос Зеленского. И однако Зеленский был трезв. — Я скажу вам по совести, у меня в жизни нет ничего, то есть нет ничего личного... — тут Зеленский вспомнил семью. Он женат, у него двое детей. Он был отличным отцом. Но сейчас почему-то ему показалось, что семья — дело второе. Он готов ею пожертвовать. Он от нее уже отказался.

— И в эти величайшие годы. Опять же все так говорят. Могучая поступь истории. Но что же делать, я не умею придумывать слова. Я выражаюсь, как все. Но я иногда прсыпаюсь и думаю — какое великое время. Я твержу себе: понимаешь, когда ты живешь!

Бах закончил жаркое.

— Ну, а что же вы не едите? — попытался прервать он Зеленского.

— Спасибо! — Зеленский схватился за вилку, словно выполняя приказание Баха. Но снова опустил вилку на стол. — Я должен сказать о себе. Меня построила революция. Чем я был бы без революции? Буржуазным журналистом, сотрудником продажных газет. А сейчас я служу интересам рабочего класса. Скажу прямо, я сам бы не дошел до идеи социализма никогда. Я обязан революции и всем.

Бах подумал, что плох энтузиазм без ума.

— Так чего вы хотите?

— Я хочу войти в партию. Не скажу, что я чувствую себя достойным вполне. Но надеюсь, я заслужу. И еще я хотел бы, чтоб именно вы за меня поручились.

— А! — Бах оглядел собеседника. Бах намеревался сказать, что чувства Зеленского к партии схожи с чувствами женщины, намеренной спешно отдаться. И что вряд ли нужна революции такая сексуальная пылкость. — Н-да! — пожевал Бах губами. Не напишет ли Зеленский ему в блокнот вместо альбома несколько жарких стишков! — Да, — сказал он, припомнив, что Зеленский еще нужен ему. — Что ж, я принципиально... У меня нет возражений. Как-нибудь поговорим. Надо пожалуй итти.

Он поднялся с намерением расстаться, наконец, с собеседником. Но Зеленский сорвался со стула.

— Вы, что же, так и не ужинали?

— Ничего, — повторял Зеленский. — Ничего. — Он шел вслед за Бахом. Но тот зашагал, не оглядываясь, чтобы пройти перед клубом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Кусков выяснил, где живет Васнецов. Пообедав, отправился к фабрике. Домик, присевший недалеко от входа во двор, выглядел молчаливо и замкнуто. Возможно, обитатели не вернулись с работы. Темные окна, будто из железных листов, не принимали никаких отражений. Замедлив шаги, Кусков прошел мимо домика. Его деревянное оцепенение оставалось немым и недвижимым. Дверь плотно вжата в стену. Из трубы не выделяется дым. Ничто не говорило о внутренней жизни строения.

„Отдельная квартира. — подумал Кусков. — Твердое положение. Полная возможность работать. Благополучие инженера“. Он рассматривал все привилегии Васнецова. Именно так все ему представлялось и раньше: ценный работник, с которым все носятся.

Кусков двинулся дальше. Он даже обрадовался, что в доме нет никого. Неподготовленность к встрече. Полная безоружность. Он тихо прошел мимо фабрики. Туда его не тянуло. Там господствует Васнецов. Каждая машина подтверждает нужность его и случайность прихода Кускова. Кусков обогнул серый корпус.

Здесь тоже тянулись мостки, переламываясь углами, будто выискивая дорогу с трудом. Местность сползала вниз, тяготея к берегу озера. Уже совсем беспорядочные, временные ящики барачных. Черная постоянная грязь, лужи, питаемые подпочвенной влагой. Потом рыбьи рыхлые пустыри, неизвестно зачем огороженные. Дальше за-

канчивалась железнодорожная насыпь, где раскрытый товарный вагон, забывший о передвижениях. В него складывались только свертки ветров, напрасно ожидать отправления. Тут граница владений строительства. И, казалось, здесь замедляется время, замолкает, застывает, подобно извечным лужам с бурой и липкой водой.

За насыпью — старая Ломжа. Длинный рыбацкий поселок, проживший не одну сотню лет. Единственная бесконечная улица. Край, богатый лесами, оттого величественные бревна выпукло прижимались друг к другу, подпирая островерхие крыши, собранные из дощатых чешуек.

Край, бедный теплом и светом. Маленькие отверстия окон. Их, чтобы сделать заметными, обрамляют резными наличниками с зеленой и синей раскраской. Иногда окно нарисовано, чтоб стена совсем не ослепла. Все равно в зимнюю ночь света не получишь снаружи. Зато из избы не выйдет застоялое печное тепло.

Фабричный гул остался за насыпью. Кусков выбрался из него с облегчением.

Над самым озером, на площадке — оставленная, не работающая церковь. Те же бревна необъятных толщин, входящие одно в другое. На их непрогибаемой клетке утвердился досчатый кузов. Деревянный боченок купола и на нем острый конус крыши. Крепкий дом рыбацкого бога, строенный без гвоздей и пилы. Он стоял сейчас на распутии, ожидая иных назначений. Он был пока в отпуску.

А рядом колокольная башня, не сжимающаяся кверху, как следовало бы. Уверенная в собственной прочности, она отвесно растет до конца. Наивная смелость строителей, инстинктивное чувство пропорций. Острая тесаная шапка вставлена в опустелое небо. Между шапкой и верхом башни в свободном круглом просвете помещаются колокола.

Кусков обошел разрушенное безнадзорное кладбище. Деревянные кресты с крышами криво торчали, словно

медленно падая. Большинство их в этом дрящемся годами падении уже достигло земли. Земля втягивала в себя столбики и перекладины, всасывала каменные плиты, заглатывала и перитирала кости покойников, распределяла в своем организме все элементы, составлявшие кладбище, превращая их в новые жизненные составы и ткани.

К стенке башни приставлен откуда-то выдернутый шестиконечный крест. У подножья креста вырезан череп Адама почему-то с одним раскрытым, как зонтик, внимательным ухом. Крест пытался нарушить безличное безмолвие кладбища. Он еще предлагал свою надпись прохожим. Сообщал о некоем Орлове, поставившем крест в семнадцатом веке. Но доклад креста был ненужен. Кто задумается об Орлове? Кто задумается о каждом из нас через три быстрых столетия?

Обнаружив дверку в стене, Кусков забрался внутрь башни. В темноте он наткнулся на лестницу. Держась за отглаженные бесчисленными прикосновениями рук перила, скользкие, будто из стали, Кусков осторожно карабкался. Блеклый свет стекал сверху. С каждым подъемом становилось виднее удивительное расположение деревянных стволов сухими, круглыми и, казалось, легкими, как полые трубы органа, перекладинами, скреплявших изнутри стены башни. Лестница проникала сквозь их массивные и правильные клетки. Свет оседал на бока их, отлакированные временем глянцевыми серебристыми пятнами. Многие поколения голубей покрыли их известково-белым пометом. И сейчас у вершины башни раздавалось рокотание вспугнутых крыльев, смешанное с легким хлопаньем ветра. Кускову стало жутко и грустно. Он был так одинок в этом бесцельном своем восхождении. Он мог бы кричать здесь, и башня скроет голос его. Мог бы броситься вниз, и об этом никто не узнает.

Кусков достиг площадки под куполом. Деревянный диск, выпуклый в центре, обнесенный опасными низень-

ними перильцами. На этой покато́й тарелке стоял непроницаемый ветер. Огромные впадины колоколов зияли над головой Кускова. Он потрогал холодные, шероховатые борта, попробовал сдвинуть их с места: большие сидели недвижно, словно доверху врытые в воздух. Самый младший из них шелохнулся и выронил из сердцевины коротко звякнувший звук. Кусков отдернул испуганно руки. Он лег на дно колокольни, явственно двигавшееся, когда ветер крепчал. Вцепившись руками в пол, словно опасаясь свалиться, Кусков лежал в забытьи. Возможно, задремывал он, охваченный трепетом ветра. И снова заглядывал в явь. Так несколько, так много раз.

Внизу в обе стороны раскрывалась сонная серьезная Ломжа. По своему величественная в своем старинном покое. Пучками длинных лучей, выгибавшихся из-за облака, заходившее солнце держало гребни чешуйчатых крыш. Длинный серый залив с поверхностью шероховатой, как поверхность наперстка, то гнал в одну сторону мелко крапленную рябь, то вдруг, разглаженный солнцем, ослабевая, замирал слепительными листьями мetailла.

Кусков висел на колокольне, будто в деревянном мешке, неприкрепленный ни к озеру, ни к Ломже, ни к фабрике, выступавшей вдали, будто каменный серый порог. Неприкрепленный к земле, неспособный поселиться на воздухе. Случайно поддержанный старой беззвучною башней. Под замолкшими колоколами, раскачать которые нет у него ни сил, ни решимости. Чувство уничтожения постепенно охватило Кускова. Оно исходило от кладбища, от запертого наглухо храма, от многопудовой тишины, словно жернов, налегший на тело. Кусков содрогнулся, понимая, что распадается сам, что смерть работает в нем непрестанно, отвоевывает в его тканях участок за участком, а ему нечего противопоставить, он попал, как в мышеловку, на землю, что слепые законы природы, издеваясь, дразнят его, суют

в лицо зажженную тряпку, хотят выколоть глаза ему тупыми лучинками и, как он не мечется, выскочить некуда. Никто не осведомлялся, желает ли он жить, когда его вытолкнули на землю рождением, никто не спрашивает его согласия на смерть. А вместо этого суют ему в руки работу. Задыхайся, гнишь, строй дома, чтоб они обвалились, рой землю, пока в нее не провалишься. В лучшем случае от тебя сохранится дурацкое имя — Орлов. И наткнется кто-нибудь на случайное изображение твое, как наткнулся он нынче на череп с бесполезно распахнутым ухом.

Кускову захотелось кричать. Он ползал по деревянному кругу. Забывался и снова находил внизу озеро. Ведро колоколов тяготели над ним, угрожая сорваться. Тягостная природа вокруг, грубые камни, тусклые сосны, бесцветные воды.

Что гонит людей в этот край, явно непригодный для жизни? Какое тупое упорство? Мерзлый нерадостный север.

Кусков вдруг заметил, что он не один.

2

Действительно, невысокий мужик без картуза, шея замотана шерстяным рваным шарфом, неопределенного возраста, со слезящимися глазами и красноватыми веками, может быть, давно наблюдал за Кусковым. Кусков вскочил, испугавшись. Человек, пожалуй, был пьян. Со слишком поспешной готовностью лицо его размякло в улыбке.

— Ничего, — сказал он одобрительно, — что же, лежи, ничего. — Он обвел взглядом окрестность, словно оцупывая свое имущество. — Приезжий? — спросил он Кускова и ответил сам за него. — Ну, конечно, приезжий. Теперь много к нам ездит. А я местный, я здешний. Век тут жил и умру.

Кускову не хотелось беседовать. Но человек не смущался. Он сам вел разговор, вопрошая и давая ответы. Получалось подобие настоящего обмена мнений. И это удовлетворяло человека.

— Я сюда часто захаживаю. Свободно и не гонит никто. Один я, заботиться не об ком. Меня раньше в колхоз загоняли. Нет, в колхоз мне ни к чему. Я бедняк, меня и так государство накормит. Пусть идут середняки. Им без колхоза опасно. Действительно, не прожить без колхоза. А я и так проживу. Я бедняк. Правда, прежде жил побогаче. Только это до революции. А потом стал чистый бедняк. Бедняк без червоточины.

Человек помолчал и вздохнул.

— А как очень нажали, я тогда подался на фабрику. Выкусите, говорю. Я теперь рабочий-крестьянин. Только фабрика мне тоже не сахар. Говорят, много прогуливаю. В ударники не записываюсь. Вы кормите, тогда запишусь. Выкатить меня собираются. Я их, сволочей, не боюсь. Поди, работай без пищи. Курица и та пьет, — вдруг достал он из кармана бутылку. — На, приезжий, угощаю тебя.

— Нет, — сказал Кусков с отвращением.

— Как так нет, раз я угощаю. Это всякое горе разводит. Пей, приезжий, ты меня не обидь. На, — он сунул бутылку Кускову. — Ты прости, я стакана не взял. Не знал, что встречу товарища. Ну, нагни ее прямо из горлышка. И мне оставь. Ты для меня подходящий. Я смотрю, лежишь и скучаешь. А ты выпей для духу. Выпей и бей.

— Кого бить? — Кусков глотнул теплую водку.

— На кого рука подымается. Главное, жизни ничьей не жалеть. Тогда сам проживешь. Это мы до войны полагали, что жизнь дело святое. А теперь, дорогой, все понятно. Что курицу зарезать, то человека убить. Переспешь ночь и забудешь. Это главный секрет. Кто жизни ничьей не жалеет, тот легко на свете живет. Он на свете хозяин всему. Ему все дороги свободны.

— А ты что так говоришь? Ты сам убивал кого-нибудь, что ли?

Человек покосился на Кускова.

— Ну, это тебя не касается. Я тогда тебя вот что спрошу: ты солдатом был на войне?

— Не попал, — отвечал, хмелея, Кусков.

— Оттого ты спрашиваешь. А я был еще на германской. А солдат должен убить, для того его обучают. Это первый раз только страшно. Я как выпью, об этом все думаю. И такая в душе простота. Что такое человек сам по себе? Пыль, и я пыль, и ты, дунешь, и нет ничего.

— Что же хорошего?

— Ну, а что плохого? Ни об чем не надо заботиться. Все равно все скоро погаснем. Пей еще.

— Не хочу. — Кусков отставил бутылку.

— Не хочешь, я не принуждаю. Я тебя спрошу об одном. Как ты думаешь, продали нас. Россию нашу продали? Я думаю ее нарочно на гибель ведут. Чтобы не было государства такого. Все нарочно так и устраивается, чтобы совсем не осталось России. Да и пожалеть ее некому. Все равно, если бы прямо сказали — продавать Россию хотим, никто бы и не вступился, продавайте, пожалуйста, страна совсем бесполезная. — Он опять помолчал и потом сказал с удовольствием: — Вот так и живем, приезжий, крови не боимся, родины не жалеем. Самая просторная жизнь.

— Ну, ну, брось, — сказал Кусков, отодвигаясь.

— И я об том говорю. Брось и не сомневайся. Ответа держать ни перед кем не придется. Это я тебе говорю. Я тоже всякое видел. И деньги прежде берег, и перед иконой молился. Можно сказать, через смерть пришлось проходить. Смерть страшна, если она далеко. А если сам причинить ее можешь, она тебе помогает. А теперь нет у меня ничего. С фабрики хотят меня выкатить. Я им еще покажу. Они еще вспомнят Орлова.

— Ты Орлов? — спросил Кусков напряженно.

— Да, Орлов я и есть. Такая фамилия.

У Кускова стеснилось дыхание. Вздорные мысли ворвались в его воспаленную голову. От водки, от усталости, от взволнованности пол, казалось ему, топорщится под ногами горбом. Ему представилось — он упадет с колокольни. Схватившись за перила лестницы, Кусков мешком пополз по ступенькам. Клетки бревен ездили вокруг его тела. Башня кружилась и рушилась. Черные клубки голубей взлетели вверх, как мячи. Ударившись коленом об угол, Кусков выскочил, хромая, наружу. Он побежал по улице, словно боясь, что башня упадет на него. Последнее, что он заметил, были раскинутые руки креста. Но череп не различался в быстро садящемся сумраке.

3

Окна домика Васнецова теперь были освещены. Кусков подошел к ним вплотную. Белая поверхность стола, кожаная спинка дивана. Сначала комната оставалась пустой. Потом пересекла ее женщина. Кусков подался вперед.

— Нина, — сказал он громко.

Женщина оглянулась в сторону окна, будто голос Кускова достиг до нее. Кусков отпрянул от стекол. Женщина подошла к подоконнику, пошевелила руками у рамы. Штора съехала вниз. Кусков заторопился к крыльцу.

Но там обнаружились люди. Трое. Кусков остановился поблизости. Люди стучали. Дверь отворилась со скрипом.

— Кто там? — вскрикнула Нина. Кусков стоял за углом. Ему хотелось ответить. Люди что-то сказали. Кусков не вошел за ними.

Он вернулся на прежнее место и присел у забора на камень.

Неизвестно, чего ожидал он. Фабрика рокотала за ним. Он будто старался расслышать, чем живет этот

дом. Он пришел в себя окончательно от прохладного вечернего воздуха. Уход Нины, ее пребывание здесь представлялось ему пустяковым недоразумением. Ведь он сидит от нее на расстоянии нескольких метров. Ему стоит только подняться и тихо стукнуть в стекло. Нина выйдет, и все приключение кончится. Им останется только вернуться домой из этого неприглядного края. Так и будет, конечно. Надо только войти туда, в комнату. Но ему не хотелось вставать. Он посиживал и дышал.

Вдруг расслышал он, — дверь открывается. Несколько человек пробежали от него в двух шагах. Их голоса удалялись, люди спешили на фабрику. Кусков усмехнулся их озабоченности. С усмешкой над самим собой и над тем, что ему предстоит, Кусков взошел на крыльцо. Дверь оказалась незамкнутой.

Кусков прошел коридорчиком. Он сейчас же узнал столовую, виденную им из окна. То, что смотрел он теперь с противоположной стороны, ничего к ней не прибавило. Тот же диван, тот же стол с небубанной чайной посудой. Нина перед окном, повернувшись спиной к Кускову. Она смотрела на опущенную штору. Кусков остановился на пороге. Нина обернулась мгновенно. Будто штора была зеркалом, и в нем давно отражался Кусков.

— Аркадий, — сказала она и быстро шагнула навстречу.

— Вот и я, — улыбнулся Кусков.

— Да, да, — Нина не удивилась совсем. — Хочешь чаю, Аркадий?

Кусков не ответил и опустился на стул. В незнакомой обстановке Нина не изменилась нисколько. Она выглядела столь прежней, столь неувидительной для Кускова, что он сразу почувствовал свои перед ней преимущества, свои старшинство и значительность, как привык это чувствовать раньше.

— Вот, я приехал, — повторил он опять — ты, пожалуй, и не ожидала.

— Как живешь ты, Аркадий? — Нина тихо спросила. Она оглядывала его костюм, каждую пуговицу, криво повязанный галстук. — Я хотела тебе написать. Непременно бы написала на днях. Вот только немного вошла б в колею.

...Ведь она же привыкла к нему и даже любила когда-то. Разве можно быть равнодушным к человеку, которого издавна знаешь. Известно, как он улыбается, как вытянет пальцы и постучит по столу. Весь рисунок произвольных жестов, мелких, как бы случайных, но выражающих существо любого из нас в большей степени, чем может выразить слово. Вот сейчас он опустит руку в карман — это за папиросами. Ему кажется, он позабыл портсигар, и недоумение стянет над переносицей кожу. Но он просто перепутал карманы, и это означает волнение. И уже он покручивает тонкий столбик папиросы в руках и сейчас поднесет ко рту огонек.

— Я рассчитывала к концу месяца приехать в Ленинград, чтобы там у тебя все наладить.

Ей было жалко Кускова. Дело, может, не в ней самой, а в той изгороди неуловимых удобств, какими она окружала его. А работа? Неужели не сдвинулась с места? Получил ли он деньги? Как сейчас он питается? И если бы действительно он обратился к ней с просьбой, с простой человеческой просьбой вернуться на время, устроить помощь, она не могла б отказать.

— Я живу хорошо. Но я думаю, что ты сделала глупость.

— Может быть, может быть... Ты лучше о себе расскажи. Обо мне я сама расскажу, если тебе захочется слушать.

— Мне кажется, ты будешь, Нина, раскаиваться. — Кусков говорил положительно. — Ну, взять хотя бы то, что ты заехала в глушь. Я сегодня обошел эту Ломжу. Да и работа твоя. В Ленинграде ты всегда на виду. А тут все равно о тебе никто не услышит. Не говоря уже о том, что здесь, как ни старайся, ты будешь цениться не сама по себе, а как добавление к нему.

Это было умно. Кусков выбрал уязвимое место.

— Ну, это от меня отчасти зависит...

Но Кусков ее перебил:

— В Ленинграде никому ничего неизвестно. Я ни с кем не встречался. Можно всем объяснить, что ты ездила в отпуск. Все прошло бы совсем незаметным.

— Что ты мне предлагаешь?

— Я считаю, тебе нужно сейчас же вернуться. И как можно скорее. — Кусков даже привстал. — Слушай, Нина, поедem сейчас. Завтра дома. Ты успеешь уложить чемоданы. Ну, а то, что нельзя захватить, тебе вышлют по почте. Так, не говоря никому, это самое правильное.

— Подожди, Аркадий, ты думаешь, когда говоришь?

— Слушай, Нина, ведь это же вздор, это все тебе показалось. Тебе же не шестнадцать лет. Разве просто начинать новую жизнь? Ты сама себя убедила. Я, конечно, виноват перед тобой, я тебе уделял мало внимания. Но, смотри, вот мы сейчас сидим, разговариваем, и разве нет у тебя ощущения, что ничего не случилось? Что мы прежние, и нужно выбраться из этого нелепого положения, и завтра мы окажемся у себя на квартире? Разве ты ненавидишь меня, или плохо относишься, или я к тебе чувствую неприязнь?

— Нет, нет, не то, — быстро ответила Нина.

— Ну, так что же тогда? Ты можешь опасаться, что я тебе после буду ставить на вид? Но я тебе обещаю, я забуду об этом в тот момент, когда мы выйдем отсюда. Если б я вспомнил когда-нибудь, то брось меня в ту же минуту. Но ты ведь меня знаешь достаточно, ты можешь поверить, что так никогда не случится.

Кусков придвинулся к Нине. Он знал, что слова его действуют. Он знал, что характер Нины достаточно мягок, что, в сущности, даже пассивна она, что именно из-за этой пассивности длилась так нерушимо их совместная жизнь и что, конечно, Васнецов привез Нину в Ломжу, а если бы он уехал один, то при всей силе чувства, Нина примирилась бы с утратой, не стремилась бы

к переустройству собственной участи, может, от присущего ей сознания своей незначительности, оттого, что на какое бы скромное место судьба ее не поставила, Нина нашла бы его для себя подходящим. И потому стоит схватиться сейчас (так представлялось Кускову) за руль, управляющий Нининой жизнью, стоит покрепче нажать его, и уступит он, и покачнется, и в другом направлении выравнивается их обоюдное будущее.

Он видел, что Нина взволнована, и ее смущение истолковал в свою пользу. Он хотел возвращения Нины, но особенно такой внезапный отъезд: как бы он повысил Кускова в собственном мнении. Какое дал бы он право на пренебрежение к тому человеку, на действительное забвение его. Ведь вытряхивают же люди из памяти незначительные обстоятельства каждого дня.

— Ну да, я понимаю отлично, тебе было трудно со мной. Я человек неустроенный. Не только в смысле внешней обстановки, я тебя не хочу обижать, я знаю, эта сторона не имеет значения. Я человек неустроенный внутренне. Хотя я не уверен, что лучше сейчас — неустроенность или благополучие. Но все таки тебе лучше со мной, потому что ты привыкла ко мне. А я знаю, что для тебя значит привычка. Мы столько лет прожили, тебе не нужно затрачивать новых усилий, тебе известно, что ты можешь ожидать от меня, чего не можешь. В нашей жизни нет никаких неожиданностей, а разве это плохо, разве мы так глупы и молоды, чтобы гнаться за новым? Ты скажешь, что я консерватор, что я, как старик, рассуждаю. Но ведь знаешь, Нина, ты такой же консерватор, как я. Потому-то, несмотря ни на что, мы все-таки подходим друг к другу. А он, я его видел сегодня издали несколько раз, — он все время торопится. Он бежит мимо всех и забывает тогда обо всем. Ты думаешь, ты его остановишь? А разве не утомительно жить с человеком, который все время спешит? Он убежит за угол и на тебя не оглянется. У тебя просто дыхания нехватит всюду за ним поспевать. Да и нужно ли ему,

чтобы ты за ним попевала? Вот в чем главный вопрос. В результате, ты ему будешь только мешать. Ему комсомолка нужна, или уж не знаю кто, но не такая, как ты. Ты для него дополнение, приправа, что-то вроде перца к бифштеку, если грубо сказать. Люди вроде него, всегда воображают, что завоевывают мир. Удастся это им или нет, дело другое. Но подумай сама, разве ты-то похожа на завоевательницу?..

Он выдергивал за подпоркой подпорку у нее из-под рук. Он показывал ей ее образ со всеми природными слабостями, даже их увеличив значительно. И так как он был прав в перечислении слабостей, то внутри у нее все сжималось. Он сейчас жалел ее искренно, так как принадлежал к тем мужчинам, которым женщина дороже всего, если ее удастся ослабить. И если плачет она, любовь их сильнее всего.

Кусков видел — глаза Нины влажны.

— И еще, Нина, ведь ты же меня никогда не забудешь. Не потому, что я так хорош. Но потому, что у тебя характер такой, что ты забывать неспособна. Ты всегда будешь обо мне беспокоиться, о том, как я живу. Потому что, любишь ты или не любишь меня, ты знаешь, как ты мне нужна. Ты будешь себя упрекать. Я уверен, что и эти дни ты обо мне вспоминала. Ты сама не знаешь, как ты привязчива. И, значит, твоя жизнь все время будет отравлена. А ради какого счастья? На какое счастье, на какую долю счастья ты здесь можешь рассчитывать?..

Нина плакала, молча, опустив притихшее, остановившееся лицо.

— Мы с тобой промежуточные люди и меняться обоим нам поздно. Ты переоценила свои силы и, может быть, он их тоже переоценивает. — Голос Кускова дрожал. Кусков волновался ужасно. — А я не переоцениваю тебя, потому я более прав. — Он взял ее руки. Они были мокры от теплых упавших капель. — Потому то тебе будет лучше со мной.

Он держал ее руки, и Нина не отняла их, будто у него же она искала защиты от всех призраков, которые вызнал он сам.

— Нина, поедem сейчас. Он тебя и не вспомнит, он побежит на собрание. — Она так обессилела, словно из тела вынуты кости. Так обижена, и, казалось ей, столь по заслугам. — Я же твой друг, ты должна мне поверить.

Он держал ее руки и от них отделялось тепло. Он давно не видел ее столь покорной и слабой, и от этого чувствовал странную нежность. Вот она, нуждающаяся в нем, неспособная уйти от него никуда. Царапающее сухое волнение винтами прошло по его телу. Он понял, что вдруг сорвался. Теперь слова потеряли значение. Кусков целовал ее волосы.

Нина вскрикнула и поднялась.

— Аркадий, что ты? Опомнись!

— Нина, помиримся, Нина, — бормотал он, теряя власть над собой. Дикие воспаленные мысли бороздили его сознание. Да, сейчас же, здесь, без отсрочек, пока у ней не высохли слезы, схватить, утвердить свою власть и тогда у нее нет выхода. Именно в этой квартире, которую тот припас для их несостоявшейся жизни.

Нина отбежала за стол.

— Да, да, Нина не надо, не бойся!

Он бросился к ней, толкнув стол так, что задребезжала посуда.

— Аркадий, послушай!..

Он схватил ее за плечо так, что она покачнулась. Но вывернулась и выпрыгнула в коридор. И захлопнула дверь, больно ударив его по руке. Толкнув вешалку, очевидно сняв пальто по дороге, она выбежала из дому. Помахивая ушибленной рукой, он огляделся.

Опрокинутый стул на полу...

— Дрянь, — сказал он, — подлость какая, — тяжело дыша и с неожиданной кривою улыбкой, он прошел в соседнюю комнату, разбрасывая ногами неразложенные горки книг. Письменный стол, кровать, американские книжные

полки... Ему ранил глаза каждый предмет. Ярость стояла у горла. Он снова вернулся в столовую. Лист твердой бумаги на подоконнике привлек его взгляд. Он поднес его к лицу и увидел изображение Нины. То выступавшие из белизны, то погружавшиеся в нее без остатка легкие темные линии. Едва намеченное выражение лица, несколько озабоченное, но все преодолевает улыбка.

— Дрянь! — крикнул Кусков, чувствуя удовольствие от самих звуков резкого слова. Он скрутил бумагу в руке и швырнул ее в угол комнаты. Девушка-финка, возвращавшаяся из кооператива, удивленно уступила ему дорогу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Машиностроительное предприятие Фюльнера, вырабатывавшее раньше оборудование сахарных фабрик, недавно перешло к выпуску производящих бумагу машин. Фюльнеровские дефибреры в основном повторяют испытанный тип дефибреров Файта. Они представляют, как было описано выше, четырехугольное сооружение, прорастающее сквозь два этажа. В верхнем в четырехугольную клетку вкладываются еловые бревна. Непрерывным вращением вертикальных винтов с четырех сторон клетки бревна опускаются внутрь, в закрытую часть дефибрера. Равномерным нажимом винтов бревна прочно придавливаются к шероховатой поверхности вращающегося точильного камня. Чтобы не воспламеняться при трении, бревна смачиваются нагретой водой. Дефибрерщик следит и возобновляет на камне насечку. Чем глубже нарезь, тем легче рвется древесина о камень.

Но при слишком глубоких нарезях, или при чрезмерной увлажненности дерева, бревно трется на чересчур крупные части. Тогда прикладывают к вращающемуся камню кирпич, чтобы камень слегка притупить. Надо следить и за быстротой вращения камня. Излишняя скорость повышает количество выработки, но может камень разорвать. В непрерывном учете влажности дерева, состояния камня и отсюда качества массы — смысла труда дефибрерщика.

В этот раз камень треснул неожиданно. Раньше законного срока. Ларкин остановил дефибрер. Когда вызвали Васнецова, положение, в сущности, выяснилось. Предстояло камень менять. Непридвиденная задержка всегда неприятна.

Но, пробегая по фабрике, Васнецов уловил возбуждение. Люди беспокойно оглядывались. Кто смущенно, кто с любопытством. Волнение выходило, пожалуй, за пределы не крупной аварии. Васнецов не стал в нем разбираться, добегаая до дефибрера, тем более, что и сам беспокоился и окрашивал все в тревожные краски. — Отчего это? — окликнул он Ларкина. — Ведь камень сменили недавно.

Ларкин пожал плечами. В помещении мглисто и парно. Два крайних дефибрера продолжали пытеть. Средний молчал, охлаждался. Вся смена возилась над излечением камня.

— Чорт его разберет, — пробурчал озабоченно Ларкин.

— Быстро шел? — спросил Васнецов.

— Быстро, быстро. — Ларкин взял за рукав Васнецова и оттащил к плоской колонне, где стоял столик с отчетами. — Быстро шел. Панаеву масса нужна. Прибегает ко мне: „Давай массу!“ Я ему говорю: „Куда ты массу देваешь? Были полны бассейны, куда ты истратил?“ А мне биржа баланс задержала. Я звоню туда, чорт его знает, там вагон куда-то загнали. Наконец, баланс привезли. Панаев прибегает: „Скорей!“ А потом мне кричит: „У тебя масса плохая!“ Я ему говорю: „Ты дай мне настроить машину, видишь, неровный баланс, то сухой, то сырой. А что рвешь ты, так я ни при чем. Значит, ты не умеешь работать“. Он тогда закричал: „Иди сам к бумажной машине, может ты умеешь работать лучше меня!“

— Что, что? — перебил Васнецов, слыша, что Ларкин забрался в какую-то смежную тему. — Так при чем же здесь камень? Камень отчего поломался? От большой скорости разве?

— Камень здесь ни при чем. А может от скорости. Камень надо еще посмотреть.

Васнецов понял одно, что Ларкин в чрезвычайной тревоге. Конечно, поломка камня должна быть ему неприятна. При его редкой заботливости о здоровья каждой машины. Но из перепутанных фраз можно было извлечь другое. У Ларкина столкновение с Панаевым. Панаев чем-то раскалил атмосферу. И такой конфликт мог быть неприятней поломки.

— Что же Панаев так разорялся?

— Чорт его разберет. „Быстро, быстро, скорее“ — забормотал опять Ларкин поспешно. — Все скорее ему. Посмотри, сколько браку наделал. Я ему говорю, нужно массу запастись заранее. Нужно массу проверить. Тогда пускай скоро машину. Он и слушать не хочет. Гнал машину все время на 275.

— Как? — закричал Васнецов. — погоди, я сейчас узнаю.

Он понесся вверх по ступенькам, чтобы попасть в бумажную залу.

Там обнаружилось следующее.

Когда Лыков и Васнецов разошлись по домам, Панаев остался полным хозяином фабрики. В этих случаях безраздельная власть вверяется сменному мастеру. Неизвестно, было ли у него предварительное намерение повысить скорость опять или рукоять регулятора привлекала его с новой силой. Может, действовало и то обстоятельство, что Васнецов остался пробой доволен. И не малую роль могло играть честолюбие.

Он проверил снова машины и нашел их готовыми к бою. Сам он был даже спокойней, чем во время первой попытки. Ведь ему предстояло вступить в уже открытую область. Без особенного волнения он вскарабкался на ступеньки. И машина вздохнула быстрее.

Он опять испытал веселое чувство полета. Если бы пришлось подниматься на самолете ему, он нашел бы свое ощущение в то мгновение, когда колеса тележки перестают цепляться за почву, все препятствия утра-

тили власть, и не успеешь опомниться, как земля ускользнула и замерла, чуть покачиваясь и вращаясь, широко освещенная солнцем. Цех пронизан стремительной тягой и особенный трепетный звон, казалось, поблескивал в воздухе.

По началу все шло хорошо, но затем вторглись разрывы. Следовало бы снизить скорость не потому, что при ней невозможно заправить бумагу, но это успокоило бы рабочих, введя их в привычные рамки. Панаев решил взять барьер на скаку. Заминка раздражила его. Он понесся по цеху чистить машину от выдирок. Машина его возмущала. Он хотел проявить над ней свою власть. И разрыв, действительно, выпрямлен.

Бывают неудачные дни. Разрывы, идущие за разрывами. Причин этому множество. Иногда причины сходятся вместе, образуя целую семью преткновений. Тогда и мастер, и сеточник, поддерживаемые всем составом, маневрируют среди мелей, прощупывают деталь за деталью. Тут дело инстинкта и опыта, дело такта и слуха.

В этот раз у Панаева не было согласия с машиной. Он слишком почувствовал себя господином ее. И машина будто восприняла это. Не успел Панаев опомниться, вновь раздался тревожный свисток. И словно вызванная свистком, бумага выпорхнула, как белый огонь, из расщелины между верхних сушильных цилиндров.

Панаев вздрогнул от ярости. Он готов был затопать ногами. Он сейчас ненавидел машину. Он избил бы ее, если б мог. Где-то он еще помнил, что поступает неправильно. Но признать себя побежденным... Он опять прибежал к машине. Он кричал, заносил кулаки.

И тогда вся смена встревожилась. Лишний шум, беспокойные жесты. Машина выскальзывала из рук. Брак валялся по цеху охапками. Разрыв был исправлен мучительно. У Панаева не осталось уверенности. Скорее на отчаянье походило его состояние. Он еще цеплялся за мысль — если дальше машина пойдет с той

же скоростью, он успеет нагнать надлежащую выработку. И тогда процент брака не будет чрезмерным. Машина чтилась стремительно. Напряжение утомило рабочих. Каждый ждал дальнейших разрывов. Не оглядываясь ни на кого, не желая ни с кем разговаривать, улавливая неодобрение рабочих, Панаев зашагал к бассейнам с массой. Он увидел, что масса мелеет. И тогда в первый раз он отправился к Ларкину требовать увеличения помола. Ларкин стал объяснять — биржа не досылает баланса.

А разрыв уже состоялся. Вернувшись, Панаев застал его в полном разгаре. Он посмотрел, не вмешиваясь в его исправление сам. Лицо его окаменело. Он вторично направился к Ларкину.

— Массу плохую даешь, — сказал он упорно тому осевшим попрежнему голосом.

Они стояли друг против друга. Плечистый и рослый Панаев. Ларкин смотрел снизу вверх, разогнув удивленные брови. Ему было неизвестно настроение бумажного зала. Не понимая, он слушал обиженным тоном Панаева. — Разный баланс, сухой, мокрый, — он тронулся за испытательной рамкой, чтобы показать поступающий из дефибреров помол.

Панаев задержал его за плечо.

— Масса плохая. Рвется бумага, — повторил он со сдержанным бешенством.

Ларкин был совсем оскорблен. Не зная, к чему отнести эту злобу, он принял ее на свой счет.

Он глухо ответил:

— Масса обычная. Рвешь бумагу, сам виноват.

Они молча наблюдали друг друга. Дефибры кипели у стен. На расстоянии двух шагов слова их не были слышны. Можно подумать, они мирно, лениво беседуют.

Панаев скривился. Он не повысил голоса тоже:

— Иди работать вместо меня. Может, ты лучше сумеешь. А я буду здесь.

Его гордость понесла страшный урон. Тем чувствительней отозвался он на замечание Ларкина, чем сильнее ощущал сам себя виноватым. Ларкин не продолжал разговора. Повернувшись спиной к мастеру, он вернулся под защиту своих дефибреров. Его худое лицо наклонилось над синею рамкой.

Панаев не успел возвратиться наверх, как его догнало известие, что с одним дефибрером не ладно. Он нагнулся с лестницы и различил — Ларкин бежит вокруг машины волчком. Это известие будто освободило Панаева. При двух дефибрерах без достаточно запасенной массы вести быстро машину нельзя. Снизив тотчас же скорость, он отправился звонить Васнецову.

2

Васнецов вбежал в бумажный цех, когда там еще разбирали бесформенные залежи брака. Подхватывая бумажные свертки, рабочие швыряли их в люк. Под ногами у Васнецова скрипел рыхлый бумажный ковер. Цех напоминал поле боя. Уборка бумажных листов, будто уборка убитых.

Машина шла смирно и ровно, притворяясь совершенно ручной. Вкрадчиво выталкивала она из себя тонкий, трепещущий лист, бережно передавала его с вала на вал, только бы не повредить по дороге. Смущенные, усталые лица поворачивались к Васнецову. Он сделал вид, что не замечает разгрома.

— Ну как? Рвали немного? — окликнул он стоявших у перем отки. Те на него оглянулись, не зная, какой принять тон. — Намудрили тут без меня?

— Да, — отозвался один, слегка пожимая плечами.

Но другой начал решительно, выражая общую мысль: — С такой скоростью разве можно работать? Не выдерживает тяги бумага.

Присоединялся один за другим:

— Нам такую скорость нельзя.

— Стойте, стойте, — перебил Васнецов. Все подняли головы. — Нельзя так сразу решать. Скорость, скорость. Подумаешь, не рвали без скорости. Где Панаев?

— В дежурке Панаев.

Васнецов заторопился в дежурку.

В роляном цеху за той же перегородкой, где кабинет Васнецова, находилась еще одна комната. Сменные мастера, отвлекаясь от осмотра цехов, заходили сюда покурить. Обычно комната оставалась порожней. У мастеров не было времени задерживаться в ней надолго. Панаев сидел у стола. Васнецов вошел с намерением выругаться. Он резко открыл дверь и столь же резко захлопнул.

— Что же, товарищ, вы тут придумали?

Панаев сидел за столом, налегая грудью на доску. Стол был не по росту Панаеву. Одним движением Панаев мог его опрокинуть вверх ножками. Но сейчас он держался руками за стол. Он его обнимал и, казалось, без поддержки стола может свалиться на землю.

Васнецов хотел продолжать, но Панаев в ответ улыбнулся. Попытался построить подобие улыбки, ничем не напоминающее ту, которой днем они обменялись. Это подобие улыбки оказалось беспомощным и недействительным. Лицо Панаева явно не подчинялось ему.

— Сколько брака успел наломать! — горячо сказал Васнецов.

Панаев стал подниматься. Он медленно высвободился из-за стола и вот выпрямился во весь рост. Он даже вытянул руку, а другой потер грудь.

— Ну, скажи, скажи мне все разом. А потом я объясню.

Васнецов подошел к нему вплотную, но послышалось восклицание Лыкова:

— Идите, камень посмотрим.

Панаев сразу померк. Васнецов обернулся к двери:

— Ну, ну, Панаев, стой. А то пойдем камень смотреть.

Панаев стоял неподвижно. Васнецов побежал к де-
фиберам.

Вокруг камня собрался кружок. Королев, Короленко,
Титова. Васнецов отодвинул их в стороны.

— Что ж, ребята, давайте исследуем. Разберем, в чем
дело, товарищи.

И опустился на колени у камня.

3

Васнецов любил свое дело. Как всякий профессионал,
он готов временами с удовольствием разругать все
особенности своего ремесла. Как всякий принимающий
работу всерьез, он яснее других представлял неудобства
ее и мог сетовать и раздражаться. Ему просто было
сказать, что напрасно избрал он кропотливую эту про-
фессию. И что тянет его в совсем отдаленные области.
Но он понимал, что подобная тяга опирается именно
на добросовестное знание данного рода занятий и на
стремление уравновесить знание это погружением в ка-
кой-то дополнительный цвет. Он, конечно, не родился
бумажником. Был способен к любому варианту инженер-
ной работы, получив интерес к технике с детства и
выросший в инженерской семье.

С первых лет сохранились у него впечатления от
многокомнатных квартир, одной из которых была квартира
родителей. Кабинеты отцов, где тяжелые письменные
столы и чернильные приборы на них, как символы
интеллектуального труда, важная кожаная мебель и мало-
открываемые книжные шкафы, семейные спальни с ме-
таллическими прохладными гнездами кроватей, столовые
с раздвижными столами, с коричневыми многоэтажными
буфетами, с твердыми, симметрично стоящими стульями,
гостиные, обычно мало посещаемые семьей, где дремлют
матерчатые цветные кресла, изогнутые диванчики и пышно
вздутые пuffy, собираясь в кружок возле кругленьких

столиков с причудливой лампой и альбомами заграничных открыток, а в сторонке — детские комнаты, обставленные сообразно возрасту и числу малолетних. По стенам укреплялись картины, на которые никто не смотрел, вывезенные из художественных магазинов, обязательные картины, где тусклая сглаженная поверхность слабо выделяла из себя либо морской пейзаж с остановившимися волнами, либо (если картина в столовой) смесь картонных фруктов с грязно прописанными туловищами рыб или птиц, либо женскую фигуру или голову безупречно и скучно красивую. Подобная обстановка была рыночно обезличенной, хотя дорогой. Она принижала воображение и делала вкус рахитичным. Она была условно приличной и, если к ней добавлялось несколько безжизненных пальм, претендовала даже на роскошь. Личные запросы обитателей выражались только в развеске и расстановке по столам рамок с семейными и служебными группами. В гостиных часто застывали рояли, из которых словно выветрилась музыка, и тогда в углу над роялем повисали усмирённые лица Бетховена или Моцарта, остановившиеся и невыразительные, вероятно, бесконечно далекие от их умерших оригиналов.

Васнецов знал этот быт, инертный и благополучный, и, трудно сказать почему, все более переживал отращивание ко всему кругу самодовольных чувств, пропитывавших эту обеспеченную, дорого оплачиваемую старым порядком верхушку интеллигенции.

Случайные выезды в театр, редкие соприкосновения с книгой, короткие мысли на служебные или домашние темы, благопристойное сплетничание, равномерные встречи со знакомыми. Непременное празднование рождества, нового года и пасхи. Очередные вечера в каждой семье, когда собираются солидные мужчины с баками, усами, бородками, инженеры в форменных сюртуках, их жены в дорогих, но несвежих нарядах с блеклыми нездоровыми лицами. Неминуемый ужин, когда пьют разноцветные водки, разжевываются розовые

поросята, гуси, индейки со скрипучей поджаренной кожицей. И от света, еды, алкоголя краснеют горячие лица, начинается неуклюжее ухаживание за одеревенелыми женщинами, известный своим остроумием Б. извлекает уже слышанные не раз анекдоты, а В., обладающий голосом, тянет многолетний романс. И раскрыты ломберные столы, и по их шерстистой поверхности, сосредоточенно обмениваясь условными фразами, люди движут лакированные веера гладких новеньких карт.

Страх, с которым здесь отнеслись к революции, был последним толчком, отделившим Васнецова от данной среды. Его забавлял этот страх. Слишком тогда молодой, Васнецов не участвовал в обсуждениях взрослых. Его не подготовили к революции ни воспитанием, ни живыми примерами. Но как они испугались, эти почтенные люди. Как приятно усугубить их испуг ретивыми левыми фразами. Васнецов не все понимал. Но, позвольте, зачем же бояться? Если есть у вас что-нибудь ценное, его не уничтожит разруха. И потом, почему вы уверены, что конец ваш кончает историю? Хочется доказать вам обратное. А я сам? А как моя жизнь? Она не хочет заканчиваться. Воспитание прервано годами гражданской войны. Васнецов не попал на фронт, но, мобилизованный, работал при политотделах красноармейских частей. Его технические навыкигодились и для монтерства, и для ремонта автомобилей, и для оборудования с кинопередвижками. Он блуждал по городам на одном из агитпоездов. Огрубел и опростился, приобрел находчивость, сметку.

Однажды среди прифронтовых странствий, когда поезд осел в некрупном провинциальном местечке, от безделья он взялся за чтение.

В клубе военкомата, занимавшем купеческий особняк, Васнецов нашел библиотеку. Это был беспорядочный склад отовсюду сброшенных книг. Им ведала старушка из бывших, не знающая ни объема своего печатного хозяйства, ни его содержания. Она прониклась к Вас-

нецову доверием, хотя и не без опаски. К тому же ей хотелось отвязаться от его постоянных расспросов, что в себе заключает тот или иной ее шкаф. Она допустила Васнецова непосредственно к полкам. И впоследствии оставляла ему все ключи. В благодарность он стал помогать ей в разборке и расстановке томов.

Он читал, что оказывалось под рукой. Притаскивал с собой кусок хлеба и пайковые леденцы, раздобывая в клубе кружку кипятку. Таким образом он здесь обещал, не отделяясь от книг. Иногда он задремывал тут же, уткнув лицо в переплеты. Отсюда его выволакивали вечером для налаживания киносеня или следить за освещением спектакля. Васнецов торопился читать. Он вдруг понял, что жизнь сложна и огромна.

Как и все его товарищи, он, вертевшийся в воронке войны, ходивший по самому шву, где смерть сшивается с жизнью, не задумывавшийся о будущем, словно войне не видно концов, отказавшийся от воспоминаний, не хотевший ничем быть обязанным прошлому, до этого момента почти не имел отношения к книгам. Средняя школа успела привить к ним отвращение. То, что родители повторяли подчас имена писателей, никогда их не читая, только подчеркивало выдуманную лживость литературы. Книга техническая еще могла пригодиться. Но художественная, — не есть ли это одна из принадлежностей интеллигентского костюма, вроде задних пуговиц на сюртуке, на которые ничего не застегивается? Здесь впервые Васнецов был оглушен. Он читал, что попало. В голове его насажали друг на друга названия, мусор сыпался вместе с зерном. Он был вынужден сам производить размещение читанного, словно заново организовывать историю литературы. И хотя далеко не всегда он встречался с питательными веществами, разбрызгивая по пути всякую гниль, он почувствовал, что ценности есть, не уничтожаемые нависанием смерти вокруг, и будто свежий воздух расширяет легкие и проясняет Васнецову его самого и других. Это было горячее время.

В Васнецове прорезалось уважение к человеческой мысли, как к чему-то прилегающему вплотную к поступкам, образуящему вокруг поступков необходимую среду, тогда как до сих пор он имел дело только с поступками.

Он не мог внятно ответить, какова связь между отдельными вымыслами и действительностью, в которую он погружен. Но в отдельных случаях эту связь ощущал, хотя вымыслы разыгрывались в совершенно иных плоскостях. И те книги, в которых он находил такую необъяснимую связь, отбирал он как нужные. Это мое, это годится, это мне помогает. Он не знал, что такие книги выросли из настоящих человеческих состояний, и законы жизни, работающие в самом Васнецове, узнают себя в этих книгах, хотя сами законы выступают там в совсем ином облачении.

Например, он наткнулся на Данте. Один из трех грузных томов свалился на шею ему, когда он воевал с рассыпающейся книжной кладью в шкафу. Васнецов злобно вцепился в его ударивший короб. Он ворчал, прикасаясь к поэме, трогая вслепую ее мускулистое тело. Он недоумевал, разглядывая чертежи и картины. Вся затея представлялась ему чепухой. Выламывая из текста вразброд кусок за куском, он все более не понимал, в чем тут суть. Наконец, решил проверить весь механизм сначала. Здесь заведомо не могло быть никаких соприкосновений с существом Васнецова. И однако он заинтересовался. Прежде всего последовательностью образов. Поэма стояла, будто огромное здание. Равномерные коридоры, правильно распределенные комнаты. Порешив, что имеет дело с фантастикой, Васнецов стал знакомиться с текстом, как вчитывался бы в авантюрный роман. Его привлекала сжатость и полная наглядность повествования. Будто перед Васнецовым проходили оживленные статуи, и стоило вытянуть руку, чтобы дотронуться до их одежд. От одних исходила боль, другие выделяли ярость и негодование, иные светились

нежностью. Выяснялось, что дело не в условных обозначениях мест и не в старинных одеждах, а в том, что все здание вылеплено из человеческих чувств и по их расчлененной системе проводит читателя автор. К тому же сам материал этих чувств дан в состоянии борьбы. И невыдуманные кровавые распри в стране на своих руках поднимают эту многоярусную пирамиду.

Возможно, встретить Васнецов поэму в спокойные дни, он прошел бы мимо нее. Но именно революционная яростная обстановка помогла ему увидеть в якобы вне-временном и надземном повествовании его временный и страстный смысл. Этот смысл оживил черты давнего памятника выражением доступным и близким.

Все это было первым восстанием взрослости, когда в сознании словно снимаются ставни и в окна вносятся утренний свет. В комнате собственной личности открывается форма за формой, выступают предметы — назначение их не понятно, но их тянет изучать и рассматривать. Ведь, несмотря на опыт войны, на полную оголенность жизни, отчего нельзя не состариться, Васнецов и люди его поколения были тогда еще школьниками. Знающие несравненно больше, чем им полагалось по возрасту, во многих обстоятельствах они сохранили наивность. Такой молодежи пришлось впоследствии со страшным усилием выравнивать далеко ушедшую вперед повседневную практику и полную непригодность к внутренней жизни. Далеко не всем удалось научиться ходить, не хромя. И первыми приборами для измерения душевных явлений оказались для Васнецова те случайные книги.

Разумеется, Васнецов не отдавал себе ясного отчета в значительности этих дней. Он просто читал, вовсе не отводя литературе особо почетного места. Его не слишком интересовали авторы и их пути. Он мог прочесть целый том и лишь в конце установить, кем он написан. Непригодную книжку он мог пустить на растопку. Да и заинтересовавшую он не намерен таскать за со-

бой на спине. Он ощущал ее в себе переваренной, вставшей в кровь и тем самым укрепляющей его организм. Содержание же могло бесечно исчезнуть из памяти.

Так он вживался в Толстого. Он бродил по толстовской земле, чувствуя под ногами ее впадины и выпуклости. Под толстовским небом, резко и прямо освещенным, с чистыми разграничениями света и теней. В ярком сухом воздухе без малейших туманов, где каждое лицо видимо до малейшей морщинки и в такой же освещенной наглядности выступает подкожный рисунок человеческих мыслей и чувств. И выбравшись из библиотеки, Васнецов шел свободный и свежий, примеряя толстовские небо и землю к земле и небу провинциального города, и видел, что они выдерживают это взаимное сравнение и взаимно выигрывают, дополняя и объясняя друг друга. Васнецов шел по низкорослому темному городу, законопатившему свои окна и двери в прифронтной унылой боязни. Узенькие полоски слабенького выдыхаемого коптилками света желтыми крестами стояли в трещинах ставень.

В то время приближалась весна и в оттаявшем сыровато-синем небе блистали недвижные мокрые звезды. Они застревали в корзинах древесных вершин, облепляли темные крыши с вертикально поставленными четырехугольными ящиками труб и, взлетев над головой, останавливались и трепетали, ничем не прикрепленные к небу. Устройство нашего мира открывалось Васнецову впервые во всей его прямой очевидности. Ничего тайного, непознаваемого, недоступного для человеческой мысли. Ветер возникал короткими бесшумными взрывами и откатывался в переулки. Воздух спешно перегруппировывался вокруг, отдельные части его взбирались наверх, другие отжимались к ногам Васнецова. Лужи подмерзали к ночи, но лед тоньше бумаги. Он испарывался с шелестом, если его задеть каблуком. В тифозном запущенном городе, на который завтра война накинёт крепко

сшитую сеть выстрелов и потащит этой сетью, как рыбу, на берег неизвестного будущего, Васнецов в ночных возвращениях испытывал беспричинную радость. Он не то чтобы думал о чем-нибудь, но необозримое собрание мыслей нес он в себе, возможных мыслей, из которых каждая, поднявшись, может занять его череп, но пока не обнаруживает своего лица. Он был полон той материи, из которой вырабатываются мысли, хотя голова его оставалась просторной и легкой.

Сравнительно вскоре он демобилизовался и прибыл в Москву. С семьей связь почти прервалась. Изредка поддерживали его деньгами.

Институт и потом Барановская бумажная фабрика.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Между тем в клуб собирались. Клуб стоял у гостиницы. Клуб был временный, ему надлежало исчезнуть. Но пока его заместитель находился лишь в чертежных листах. Клуб был временный, но единственный в Ломже. Большой белый фонарь кругло свешивался над входом. Ни вывески, ни плаката. Клуб разыскивался по фонарю.

Даже без фонаря в клуб попал бы любой из вновь прибывших. По течению групп и фигур, радиусами сходившихся с разных сторон территории. Независимо от того, мог ли клуб предложить что-нибудь в обмен на притекающее к нему отовсюду внимание. Нет другого места для встреч. Еще разве гостиница. Но оба здания рядом.

Каждый вечер перед клубом стояли, покуривали. Окинули знакомых, здоровались. Присаживались на ступеньках под белым зонтом фонарного света. Хлопающая дверь пересчитывала проникающих внутрь. Маленькое проходное помещение. Вход в зрительный зал. Комнаты с голыми стенами и разрозненными табуретами. Зимний пейзаж на стене с подушками серых сугробов, как удостоверение личности хозяйствующих здесь холодов. Зрительный зал четырехугольной трубой. Доски скамеек без спинок.

Но есть потребность во встречах. Даже не разговаривая, передать друг другу тепло своих тел, погреться

около невидимого костра, вспыхивающего всегда между людьми, когда они собираются вместе.

В клубе происходили спектакли. Какая бы ни ставилась пьеса, действие совершалось в двух постоянных павильонах — внутренность комнаты и помещение избы. И зрители, затаив дыхание, каждый раз обновляли их воображением так же, как создавали сами игру актеров, запинаящихся и смущенных ребят, бойких в жизни и неловких на сцене. Здесь играли больше в зрительном зале, делая вид, что верят происходящему на подмостках.

Сцена была лишь поводом для спектакля, который каждый создавал в голове.

Многое в Ломже находилось в первичном состоянии, и в данном случае и в актерах, и в зрителях можно было наблюдать, как зачинается театр, зарождение первоначальных ощущений, связанных с этим видом искусства.

Иногда сюда забрасывался фильм, поврежденный в многолетних поездках. Картина развивалась без музыки, отчего становилась совершенно немой. В глубочайшем молчании фигуры выплывали из глубины полотна. Их действия, не объясненные роялем, выглядели неестественно плоскими. Вместе со звуками от них отнимались последние доли реальности.

Но если клуб и совершенно бездействовал, люди оживляли его. Они бродили, присаживались на скамейках. Заражали друг друга желанием двигаться, испытывали праздничное возбуждение от пребывания вместе, тем более, что домашние бытовые условия у многих годились только для сна. И когда над беспредметной на первый взгляд толщей вокруг прокатывались звуки оркестра, репетирующего в верхнем этаже, повторяющего вразброд одну и ту же медленную фразу, это оказывалось достаточным предлогом для оживленных улыбок, для того, чтобы распрямить независимо плечи и особенно бодро окликнуть товарища.

Сегодня в клуб торопились. Большинство подходивших, приближаясь, становились серьезными. Люди будто

взрослели, вступая в круг фонарного света. Каждый словно ждал, что за дверью обратятся к нему с рядом важных вопросов. Каждый подтягивался, как на экзамене. И, как экзаменационный билет, действительно, тут же за дверью вручался каждому только что вышедший номер газеты.

Садовников подходил с удовольствием. Если б можно было проявить внутреннее состояние тяготивших к двери людей так, чтоб вместо непрозрачных фигур вспыхнули бы световые сплетения их мыслей и чувств, среди общего сдержанного, напряженно вибрирующего моря свечений Садовников озарял бы окрестность теплым, неярким, но благополучно-уверенным заревом. Единственный из всех он впитывал успокоение из элементов вечера. Звезды мерцали ему благосклонно, земля представлялась уютной.

Его согревала сейчас доброта. Он был ею сыт, но не до отвращения. Ему приятно, что он ни на кого не разгневан. Васнецов, Ложкин... Но они же милые люди. Не из злобы на них он чинил им препятствия. Его выпады, в сущности, почти бескорыстны. Ну, конечно, ему надо выдвинуться. Для него это достаточно важно. Он тащил за собою довольно запутанное прошлое. Тут и происхождение, и слишком добросовестная работа у белых. И родственные, уходящие за рубеж, связи. И ошибочные поступки при напе, когда, увлекшись самостоятельной деятельностью, он открыл собственную техническую контору. Всякое было, что о том говорить. Садовников во-время выбрался в Ломжу. Может иначе его б попросили уехать. При обстоятельствах более грустных. А в Ломже люди нужны. Садовникову было спокойно.

После отбытия главного инженера он единственный обладал здесь некоторыми специальными знаниями. К нему относились доверчиво. А теперь возник Васнецов.

Разве им недостаточно места обоим? Но Садовников опасался. Он не верил, что единственный вид про-

движения — это полная честность в работе. С властью надо хитрить. Напрямик никуда не придешь.

Значит, дело не в самом Васнецове. Вместо него мог быть лучший или менее наделенный достоинствами. Что поделать. Сам материал бытия вынуждает к изворотливому наступлению. Васнецов будет глуп, если он не поймет положения. Он не должен иметь претензий к Садовникову. Современная жизнь так устроена. Были барами мы, теперь правят бары другие.

„Я не спорю, — думал Садовников. — Надо только использовать умонастроение бар. И особенно правильно, ежели сам в стороне. Когда планы твои осуществляют другие. Этих, более сильных, других только наводишь на след. Незачем выдаваться вперед. Нужно только сводить людей, как химические элементы. И затем происходит реакция“. Садовников скромненький. Он не нуждается в славе.

У Садовникова не было потребности задержаться перед клубом, как прочие. Он совсем не взволнован. Ничего не надо обдумывать. Спектакль подготовлен достаточно. Можно его созерцать.

Но он все-таки остановился. Дело в том, что включили радио. В городе давали „Кармен“. Эти звуки было трудно связать с пустынной ломжинской местностью. Отовсюду подошла темнота. Бараки казались естественными вздутиями почвы, болота смешались с площадками, кустарники притворялись людьми. В этой путанице можно подумать, что под натиском ночи Ломжа снова поглощалась природой. И на утро ее не найти.

Звуки оперного оркестра, удивительно организованные, выглядели здесь необычно. Что-то героическое было в их работе над ломжинским воздухом. Звуки воспахивали его нетронутые пласты, раскладывали его тончайшими узорами и фигурами. Ветер стирал этот непрочный чертеж, но звуки его восстанавливали. Они подчиняли воздух, заставляя его выражать человеческую страсть, нежность, радость. Они делали этот воздух

осмысленным, придавали ему новые качества, и, пропитанный переживаниями, он садился на сосны и скалы. Труд звуков был тем благороднее, что никто им не помогал. Немногие обращали внимание на ежевечерние состязания музыки с ветром и холодом.

Садовников поднял голову — вот теперь уползает занавес. Зал, заимствуя свет от сцены, теперь полон неясных мерцаний. Он наполнен белыми, несколько стертыми в полусумраке лицами, отовсюду повернутыми к световому зеркалу сцены. Люди смотрят в это разноцветное зеркало, где отражения живут сами по себе. И все же люди узнают в сменяющих друг друга фигурах события, происходившие или могущие произойти внутри их собственных жизней.

А сейчас выходит Хозе. Эта чортова военная служба. Она не под стать туповатому скромному малому. Правда, он исполнитель и на хорошем счету. Мундир аккуратно застегнут, пуговицы сверкают, туго затянут ремень. А в общем осталось немного. За горами в долине хозяйство. Он вернется его поправлять соскучившимися по работе-руками. Резкое солнце. На песке апельсиновые корки. Сесть в тени и поставить кружку с вином.

Но отчего там шумят? Ротозен, мнущие площадь. Ленивый сброд в грязных костюмах, гордо дымящий сигарами. Хозе их презирает своей крестьянской медленной кровью. Всем своим скопидомным умом, всей копеечной сметкой. Кто визжит там в толпе? Эй, потише, соблюдайте порядок! Эта ведьма кричит о любви. Хозе пожимает плечами.

Садовников представлял все иначе. Его тешила разрисованная Кармен в блестящем платье, в шелковых чулках и в веселых лаковых туфельках. Такая хохотушка Кармен с заигрывающими, скользящими жестами. Ему захотелось теплого мягкого кресла, теплого, освещенного воздуха, музыки, глядящей тело. И шума антрактов вокруг буфета, и запаха пудры и табаку, и розовых, пухлых улыбок. Как приятна на вкус, как беспечна

может быть жизни! Город, город! Где все это? Садовников вздохнул и растрогался.

Он вошел в помещение клуба расслабленный воспоминаниями. И чего это нехватает людям, зачем постоянные драки? Для чего ненавидеть друг друга, когда проще друг друга любить. Вот и сам он вынужден сопротивляться, подсиживать ближних. Ему стало жалко себя. Хлопочешь, воюешь, хитришь, глядь, от жизни остались кусочки. А там смерть... Ах, как скверно. Садовников качал головой.

Ему подали у входа газету. Грозный заголовок над статьей. Садовникову не хотелось думать, что он повинен в появлении этого заголовка. Все происходит помимо него. Даже при молчаливом его неодобрении. Он стоит в стороне и ни чем не может помочь. Люди любят подраться. Садовников разводит руками. Нечего вмешиваться. Никто его слушать не станет.

В зале было меньше людей, чем скамеек. Отдельные фигуры засели с решимостью дожидаться начала. Главным образом, пожилые рабочие. Как водилось в Ломже, они приходили в клуб с семьями. Жены в лучших платьях, не справляясь о предстоящей программе, погружались в свое рукоделье. Ребята ползали со скамьи на скамью. Зал имел уравновешенный вид. Перед шляпами и кепками мужчин косо поставленные колыхались одинаковые листы газет, изучаемые серьезно и медленно.

Садовников ничего не извлек из первого обозрения зала. Он не знал, какое сделать лицо. С видом неопределенного расположения ко всем он стоял, прямой, красивый старик, — впрочем, нет, какой он старик? — просто человек в годах, сохранивший молодую стройность фигуры. Взгляд его упал на ветхую красную ленту, наколотую вдоль стены. Он прочел что-то о социализме. Социализм в одной стране. Отчего ж не построить. Только можно ли будет жить в этой стране? — механически выскочила, как цифра на электрическом счетчике,

фраза из анекдота, которых он знал множество. Садовников чуть не фыркнул, так как был очень смешлив. Он поспешно сунул газету в карман, словно не придавал ей большого значения. И тогда на последней скамье увидел жену Васнецова.

2

Оставив комнаты, Нина бросилась в сторону фабрики. Но тотчас же сообразила, что Васнецову не до нее. Несомненно, он занят по горло. Вмешиваться своим беспокойством она сейчас не могла. Нина сделала несколько шагов, вглядываясь в проходные ворота. Оттуда не появился никто, несмотря на ее молчаливый призыв. Нина остановилась и наморщила лоб. Свежий воздух будто смывал с ее кожи частицы тревоги.

Но все-таки не до конца. Оторвавшись от фабрики, она двинулась в обратную сторону. Как стремительно все потемнело вокруг. Между редкими фонарями, дежурящими вдоль мостков, раскрывались угольно-черные пропасти.

Нине не было страшно, только одиноко до крайности. Здание конторы вывилось рядом во всей безмолвной его протяженности. Одно нижнее окно белой впадиной сияло в тиши. Нина знала — это редакция.

Дело тут не в гнев на поведение Кускова. От обиды на него не трудно отвлечься. Слишком он ей известен во всех своих проявлениях. Неприятно, ужасно противно. Но дело тут не в Кускове. За неплотной притворенным окном обозначались хрустящие звуки. Нина подняла голову. Да. Играли на мандолине. И старинную неаполитанскую песенку. Это было совсем неожиданно. Нина сошла с мостков и, приподнявшись на цыпочки, заглянула в окно.

В окмате, заваленной бумажным хламом, на скамейке, нагруженной газетами, закинув ногу на ногу, поместился,

согнувшись, парнишка. Он держал деревянный пузырь мандолины, прижимая его к животу. Склонив голову на бок, он вслушивался в производимую им мелодию и покачивал в такт остроносый лицом. Рот его полуоткрыт от усилия. Из-под клетчатой кепки черным мазком свисала блестящая прядь. Он играл сам для себя неизвестно где подхваченную песню, то укрепляя, то ослабляя трепетание струн.

Нина помнила парня в лицо, но не знала, что это Микешкин. И не могла она знать о его скрытых склонностях, заставлявших его таскать всюду с собою и в Ломже, например, прятать за конторку с набором свою деревянную спутницу со штрихами металлических струн. Наболтавшись и наработавшись, Микешкин извлекал инструмент, счищал тряпочкой пыль с его желтых и скользких боков, любовался всем его женственным видом, считая свою мандолину лучшей в мире по звуку и внешности, и один разговаривал с ней, неопределенно волнуясь и радуясь. Совершенно неясные мечтания колыхались в его голове, наколотые на звонкие гвоздики звуков. Иногда серьезные, иногда беззаботные. Даже некоторая торжественность наполняла его существо. Он представлял себя в эти минуты удивительным парнем, либо чрезвычайно красивым, либо отличившимся невероятно в работе, только чем именно — Микешкин не мог уловить, но принесшим столь явную пользу Республике, что его, например, вызывают в Москву и вожди собственноручно дают ему орден. А то и просто ему повезло, и проходит он со своей мандолиной по городу и оглядываются на него с почтением встречные, и самые отборные девушки стремятся с ним познакомиться. Все это отражалось на его довольном лице, придавая ему лукавое и несколько озабоченное выражение.

Нине стало смешно, и улыбка просилась в ее губы. Ей хотелось запомнить забавного музыканта, чтобы весело потом о нем рассказать. Но улыбки не получилось. Что-то заслоняло беспечность. И кому рассказать

если нет Васнецова поблизости? Нине стало еще тяжелее.

Музыкант вдруг заметил ее.

Прервав ругады „Сорренто“, Микешкин потащился к подоконнику. Нина отбежала к мосткам и, ступив на них, проскользнула опять в темноту. Вслед ей открылось окно. Микешкин лег на живот, стараясь опознать уходящую. Лучшая, отборная девушка мерещилась его огорченному взору.

— Чорт возьми! — сказал он, покачав головой.

„Так бывает всегда с мечтаниями, — мог бы он сформулировать свое состояние. — Чорт возьми!“ — Он покружился по комнате. Держа мандолину за шейку, он надвинул кепку на лоб и, насвистывая, вышел наружу. Девушка окончательно скрылась. Им овладело уныние. Зря она испугалась. Разве Микешкин собирался ее обидеть? Наоборот. Он сыграл бы любой танец, или „Марш Буденного“, или все, что ей захотелось бы. Микешкин недовольно стучал о мостки тупыми футбольными бурами.

... Дело тут не в Кускове, но вот к Шуре никак не пробиться. Вот он занял на фабрике, вокруг растут неприятности, и Нина бессильна помочь. И, пожалуй, действительно, она ему не слишком нужна. Если вовсе исчезнет она, он, пожалуй, не сразу заметит. А, заметив, вряд ли бросится в поиски. У него слишком много хлопот. Планы, замыслы, непрестанная потребность работать — все это в нем разрастается и еще расширится в будущем. Первая самостоятельная ответственность за фабрику, да чтоб справиться с ней, он вызовет все свои силы. Эти силы, пожалуй, окрепнут от трудностей. Если б не было Нины, отнялось бы у него что-нибудь? Нет, он останется тот же. Что она внесла в его жизнь? Он уже был таким же и прежде.

Собственно, все это было ей раньше известно. Но она даже радовалась полной своей растворенности в его работах и днях. Она самая обыкновенная женщина. Может, лучше, если б он оказался слабее. Не удалось ему

что-нибудь, и его охватила б тоска. Чтоб пришел он к Нине пожаловаться. Какие неуместные мысли. Но ужасно трудно, и Кусков, может быть, прав. И тогда, действительно, лучше исчезнуть самой. Пока он не разучился смотреть на нее и пока сохранится хоть память. Память радостная, незапятнанная, животворящая память о счастье. Нина шла по мосткам, доставлявшим ее в сторону клуба. Ну, конечно, это мучительно. Но она не привыкла считаться с собой. Что же делать, если радость исчерпана. Нина вошла в клуб, не оглядываясь.

На расстоянии, со стороны она скоро увидит его. Ей показалось почему-то, что это будет в последний раз.

3

Садовников поклонился любезно. Нина его не заметила. Выбрав момент, он поклонился вторично. Видя ответный кивок, Садовников изогнулся и, обходя скамейки с предупредительным видом, будто не скамейки это, а пленительные светские дамы, заманеврировал по направлению к Нине. Он сам затруднился бы сказать, какие чувства им управляют. Отчасти удовольствие побыть рядом с молодой женщиной, удовольствие, в котором он отказывать себе не любил. Привлекательность положения усиливалась тем, что женщина из враждебного лагеря (хотя с женщинами Садовников не враждовал никогда). Но Нина могла так думать сама, и это недоразумение следует, конечно, рассеять. Наконец, в ней могли отразиться мысли и настроения мужа. Их полезно увидеть заранее. Тут Садовников принял Нинину руку и поднес ее с чувством к губам.

Садовников начал с чего-то вроде погоды, или с того, как устроились на квартире, или с чего-то вроде здоровья. Он стоял перед Ниной и, ловя ее краткие реплики, повторял их, будто были они для него чрезвычайно

важны. Наконец, на что-то вроде фабрики перекочевал он в своих рассуждениях, распространился по поводу клуба.

— Скучаете, — вдруг перебил он себя. — Ну, конечно, в Ломже нельзя не скучать.

Нина смотрела на него удивленно.

— Фабрика и клуб. — Садовников оглянулся вокруг. — Вот и все, что мы можем здесь видеть. Небольшое разнообразие. Да и в клубе тоже разговоры о фабрике. Вы, возможно, не согласитесь со мной, но, скажите, разве можно всю жизнь ограничить одним производством? Ну, ну, ну, я не спорю, — сделал он вид, будто перебивает возражения Нины. — Вы, молодежь, вам виднее. Я сам понимаю, работа важнее всего. Но подчас я от вас отстаю. Иногда ляжешь вечером в постель и подумаешь, а что если завтра не встанешь? Сердце вдруг перестанет работать. И зачем тогда все это — боремся, спорим, волнуемся. Все равно ничего с собой не возьмем.

Он присел рядом с Ниной и придал голосу мягкость.

— Вот вы думаете: „Ну чего он ко мне привязался, у меня свои заботы“.

— Нет, пожалуйста, — ответила Нина.

— Да я вижу и не обижаюсь. „Ну, чего он разводит свою старческую канитель“. А я, знаете, просто так. Вот скоро начнется собрание и завязнем мы по уши в наших общих делах. И рассердим друг друга, и поссоримся вволю. А разве не бывает потребности без всяких дел поговорить с человеком? Вот сейчас я по радио слышал „Кармен“ дают в Мариинском. Так там не о делах рассуждают, там на первом месте любовь. Как вы думаете, с любовью разве нынче покончено? Не с любовью к производству, а вот именно с той, о которой Кармен говорит.

— Я не знаю, — ответила Нина.

— Вам ли не знать?.. — Садовников вздохнул и примолк. — Конечно, с вашей точки зрения, мне ли рассу-

дать о любви? Но, знаете, чем больше живешь, тем меньше охоты убираться с земли. Если б мне предложили, пусть останется одна твоя голова. Там на банке какой-нибудь пусть ее укрепят, ведь делают же с собаками что-то подобное. Так вот — одна голова, чтоб могла слышать и видеть. И уж, конечно, не двигаться, только смотреть и слушать. И в таком виде живи без конца. Я б немедленно согласился. В таком неудобном положении, но все-таки жить. В полной зависимости, ведь как голове защищаться? На какую угодно полку ее ткнут, там и стой. Но соглашусь на все. Безоговорочно.

Садовников говорил горячо. В известных дозах он разрешал себе искренность.

— Почему я с вами так откровенен, мне даже самому непонятно. Это в дороге вдруг разговоришься, в куне. Когда с человеком не встретишься больше. И давай выкладывать, всякий стыд пропадает. Известно, что ночью у того пересадка, значит, утром проснешься, его нет и следа. А с вами, как будто, еще будем встречаться.

— Я, может, скоро уеду, — вырвалось у Нины нечаянно.

— Как? — приподнялся Садовников. — Совсем? Одни или с мужем?

Он даже слегка покраснел. Значит, был у них разговор об отъезде.

Нина замолкла, испугавшись сама своей фразы.

— Очень жаль, очень жаль, — произнес поспешно Садовников.

...Пусть пришлют на место Вознецова другого. (Еще неизвестно, пришлют ли, может, просто, повысят Садовникова.) А к тому же сознание победы. Свалил этого, сладит с другими...

— А с другой стороны, насколько в городе лучше. Разве Ломжа место для вас?

Между тем клуб наполнялся. Скамейки, сначала передние, потом и все без разбору, обросли затылками, спинами, шляпами. Раньше люди выбирали места, затем

поспешно бросались на оставшиеся свободными куски деревянных досок. Ввинчивались в гущу сидящих, прилипали плечами к соседям. И уже шеренги отчаявшихся безнадежно замирали у стен. Не только рабочие фабрики, не только конторский люд. Представители администрации, подавальщицы из столовых, уборщицы, почта, телефон, телеграф. Клуб звал к себе всех. И уже образовался затор, и желающие попасть нажимали скопом в проход.

— Ну, простите, я вам наскучил, — сказал, сияя, Садовников. Ему все же не хотелось делить все собрание с Ниной. Он намерен его пережить втихомолку. Он отклонялся и, раздвигая народ, протискивался за кулисы.

Но едва он добрался до ступенек, ведущих на сцену, к деревянному столику уже направлялся Мальчишкин.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Мальчишкина не сразу заметили. Часть рассаживалась еще, а многие из сидящих, повернувшись в полоборота к сцене, толковали громко с соседями. Тишина легла островами по залу, но вокруг островов блуждал еще шум. Мальчишкин вошел, отдуваясь. Он обдергивал короткий пиджак, края которого не сходились на туловище.

— Тише! — закричали с разных сторон, и молчание толчками разошлось по рядам. Голоса еще вздергивались в проходе, но придавленные шиканьем, пресеклись. Давка в двери, все продолжавшаяся, стала безмолвной. — Председателя надо выбрать, — сказал негромко Мальчишкин.

— Ты и будь! Мальчишкина! Просим!

— Хорошо, — ответил Мальчишкин и опустился на стул. Но тотчас встал снова уже в качестве председателя.

Ему следовало сказать несколько вступительных слов. Не обладающий красноречием, он, однако, справлялся всегда с этой несложной обязанностью. Но сейчас он задумался. Он оглядывал шероховатые гряды людей, со всех сторон освещавших его нависшими на одном уровне лицами. Знакомые лица товарищей, со многими из которых он сегодня порознь общался. Сейчас они складывались в одно настороженное целое.

Ожидание подступало к Мальчишкину из зала. Надо овладеть ожиданием, нельзя его обмануть. И важность предстоящих решений так перевешивала слова, бывшие в распоряжении Мальчишкина, так не совпадала с ними, что он должен был от них отказаться.

— Я ничего не скажу, — объяснил он прямо присутствующим, — только одно, что сегодня собрание важное. Каждый пусть слушает внимательно. Каждый пусть на классовой точке стоит. — Он запнулся и протянул руку вперед. Никакое словесное продолжение не сопровождало его невольного жеста. Тогда, положив руку на стол, он закончил торопливо и просто: — в повестке доклад от бригады. Слово товарищу Баху.

Люди, внимательно следившие за Мальчишкиным, откинулись назад и заговорили. Может, каждый сказал лишь слово товарищу, но от этих случайных слов зал покрылся доверху шелестом. Может, каждый едва повел головой, но по залу прошла рябь движений. И над рябью и шелестом на сцене обнаружился Бах.

Он казался добродушным и маленьким. Смешные брючки его до колен выделяли короткие, полные ноги. Бах пятил живот в зеленом вязаном свитере, никак не скрывая, скорее подчеркивая размягченную нескладность фигуры. Остренькая клетчатая кепочка, торчавшая над овальным лицом, не шла ему чрезвычайно. Он снял ее, показав гладкую лысину. Он красовался перед зрителями удобной мишенью для шуток. И зная такое свое назначение, не возражал против него. И хотя большинство его видело раньше, Бах достиг своей цели. Кое-где проскользнула улыбка, кое-кто позабыл предостережение Мальчишкина. Ожидание упростилось и снизилось. С таким Бахом просто поладить.

Бах откашлялся, уверяя тем самым аудиторию, что у него слабый голос. Действительно, зашипели кругом, расчищая место для голоса Баха. И тогда, поощренный снисходительностью собравшихся, Бах начал тихо рассказывать:

— Товарищи, — сказал он тише, чем мог бы. Зал при-
молк совершенно, пропуская его голос в себя. — Вот
мы здесь уже две недели. Мы успели, вероятно, поряд-
очно вам надоест. Все вы заняты на производстве.
А тут приезжает бригада. Посторонние люди ходят по
фабрике, расспрашивают, путаются под ногами. Это
может вызвать досаду. Я понимаю, товарищи, и думаю,
что это естественно.

Бах обвел бесцветным взглядом толпу. Он вынул
зачем-то платок, но, смяв, спрятал обратно. Он поправил
галстук у шеи. Эти жесты показывали слушателям, что
Бах ничем не смущен. Жесты и интонации выявляли
уверенность Баха, не заносчивую, не наступающую,
а покоящуюся на его правоте. Из подобной манеры
держаться само собой получалось, что Бах говорит
справедливо. Без всякого напряжения и о бесспорных
вещах.

— Но то, что сюда приезжают бригады, — поймал Бах
прерванную на середине мысль, — то, что мы, например,
отнимаем время у вас, показывает только то, что данным
участком фронта чрезвычайно заинтересована обществен-
ность нашей страны. Вы даже сами не учитываете,
какой Ломжа важный участок. Это виднее со стороны.
Вспомним, что Ломжа обеспечивает бумагой ряд крупных
газет. Об этой почетной роли Ломжи я не стану сейчас
говорить. Но помнить об этом должны мы всегда. Верно,
товарищи?

— Верно! — раздалось из зала.

Бах оценил замечание. Нет, здесь не столичный
завод, сейчас не то выступление, когда Баха мяти тя-
желые крики толпы. Обстановка иная. Да и Бах говорит
по-иному.

— Надо помнить, что каждый хорошо проработанный
день приближает нас к социализму! — Бах сказал не-
ожиданно громко и в ответ полетели хлопки. Переждав,
он вернулся к убедительно-тихому голосу. — Но для
чего же приезжают в Ломжу бригады? Для того, чтоб

помочь вам в работе, чтоб помочь устранить препятствия, мешающие вам, каждому из вас, выполнить свой долг перед страной. Для того, чтобы посмотреть, какие трудности стоят на вашей дороге и постараться убрать эти трудности. Есть, конечно, разные трудности. Например, бытовые. Жилищные условия, питание, все это налаживается не сразу в такой горячей обстановке. Трудности, связанные с освоением нового края. Они будут преодолены, разумеется, хотя каждый из вас понимает, что в один день не превратить дикую местность в благоустроенный город. Это, я бы сказал, нормальные трудности роста. Но есть и ненормальные трудности. Они коренятся в бюрократизме, в упрямстве отдельных работников, в нежелании или неумении слушать голос массы, часто, скажем прямо, во враждебности иных лиц делу социалистической стройки.

Бах уже не казался смешным. Он даже вдруг похудел. Вместо рыхлости — собранность и подтянутость. Говорил он попрежнему тихо, но удивительно ясно.

Бах напряг внимание слушателей. Вот сейчас начнется всерьез. Но Бах отпустил напряжение. Рано еще. Все это общие фразы. Тишина, измеряемая светом электрических лампочек, неколеблющаяся и глубокая, расступалась, готовая взять каждое дыхание Баха.

Бах улыбнулся и раскинул вопросительно руки. Как рыба, одним быстрым толчком плавников изменяющая свое положение, он весь будто выплыл на свет.

— Я, конечно, не знаю, товарищи, удалось ли нам оказать вам реальную помощь. Мне об этом трудно судить. Может, мы вам, действительно, только мешали, случается и такое с бригадами. Всякое бывает на свете. — Бах водил глазами по залу. Он подносил свою улыбку к лицам сидящих и словно зажигал ею ответные улыбки в рядах. — Может, вы и нас будете после ругать. Но вот за одно вы похвалите. Тут уж я спокоен, товарищи. Я могу сообщить вам об этом, как о вопросе решенном. Мы оставляем в Ломже свою типографию навсегда. Зна-

чит, у вас будет всегда выходить регулярная фабричная газета.

Бах поднял газетный листок, лежавший перед ним на столе и слегка взмахнул им в воздухе. Аплодировать начал Мальчишкин. А, может, сразу со всех сторон выбежали группы хлопков. Крупный трепет аплодисментов дружно прошел по скамейкам.

Бах взглянул вбок на Мальчишкина. Тот аплодировал долго. Серьезно, будто работал. Он аплодировал честно, зная, что слова Баха заслуживают одобрения. Всю речь он слушал внимательно. Ничто не вызывало в нем возражений. Все верно, совершенно толково. Он сам не сказал бы иначе.

— Товарищи, пусть эта газета отмечает достижения фабрики, — фамильярно прервал Бах аплодирующих. — Но и недостатки, конечно. — Он чуть приостановился, давая понять, что теперь, когда он и слушатели так хорошо понимают друг друга, можно вспомнить и о делах. — Ведь, товарищи, у нас время очень горячее. Мне не нужно тут агитировать в вашей среде. Классовая борьба кипит. Впрочем, каждый из вас об этом читает в газетах, — легкомысленно кивнул Бах в сторону важнейших вопросов. Но дальше стал он серьезнее. — Все вы знаете, сколько средств и усилий вложила страна в эту фабрику. Фабрика должна вернуть долг. В условиях классовой борьбы каждый должен быть беспощаден к людям, мешающим выполнению долга. Тут не может быть речи о жалости. А между тем... — Бах перевел дыхание и сразу ринулся дальше. — Между тем можно ли сказать, что фабрика на высоте? Нет. — Бах будто поставил точку. Он даже прошелся по сцене. — Нет. — повторил он отчетливо. — Фабрика отстает. Это же ни для кого не секрет, — выступил Бах к самому краешку сцены. Повисая над аудиторией, он каркал хрипло, но четко: — фабрика с замечательным оборудованием и не может выполнить плана. Мне скажут, что виноваты рабочие? Неужели? Что за особенные такие рабочие в Ломже, что они

хуже всех рабочих в Союзе? Нет, простите, я этому не поверю. Это выдумка, это вздорная ложь.

Бах негодовал. Он уничтожил невидимого противника. Выкрик Баха вновь покрыт аплодисментами. Не теми веселыми, легкими, что недавно вспыхивали в зале. Но яростной, возмущенной волной рассерженных, воспаленных хлопков.

Мальчишкин тоже захлопал, но вдруг остановился. Все это правильно, но, постойте, постойте... Разве кто-нибудь жаловался Баху здесь на рабочих?

Бах сменил угрозы иронией:

— Есть такие люди, которые любят все объяснять и оправдывать. Что-нибудь не удастся, он сейчас же объяснит почему. И то мешает, и другое, и третье. Мне пришлось слышать сегодня — ветер, видите ли, и тот мешает. Откроешь окно, ветер попадает в цех и разрывает бумагу. Такой уже ветер дует в Ломже неудобный. Все виновато кругом, только эти люди не виноваты. И рабочие неумелые, и машины плохие, так нам объясняют эти люди. Все плохо, только они сами хорошие. А я в таких случаях думаю, что дело наоборот обстоит, что все не так уж плохо, а сами люди эти никуда не годятся. Такая мне приходит, товарищи, мысль. А то, если судить по-ихнему, пожалуй, долго придется ждать, пока ветер подует в благоприятную сторону. Но, правда, все это ученые люди, к ним не подступить. Может, они и про ветер в каких-нибудь книгах вычитали? Но я думаю, попросту, если на фабрике и дует какой-нибудь ветер, то это соглашательский ветер, товарищи, и дует он с классово-враждебных позиций.

Аудитория съезжилась. Будто ветер, упомянутый Бахом, холодком пробежал по рядам. Еще кое-кто улыбался, поддетый остротами Баха. Но другие недоуменно оглядывались, не решаясь идти вслед за Бахом, не зная, в каком направлении ступить. Общее течение мыслей как бы уперлось в запруду и, не двигаясь дальше, подымалось кверху на месте. Подымалось, вращаясь кру-

гами, неопределенное, несколько смутное. Бах все не открывал шлюза, и настроение густело. Люди дышали с усилием. Бах продолжал:

— И эти, ни в чем не виновные люди, обыкновенно очень горды. Если общественность что-нибудь им посоветует, они посылают общественность к чорту. Возьмем сегодняшний случай: валяется на фабрике прибор, пылится, никто о нем и не знает. А прибор драгоценный. Общественность заявляет, прибор надо отправить в центр, пусть на нем учатся вузовцы, если здесь его никто не умеет использовать. Но когда представители общественности раскопали этот прибор, в ту же минуту он оказался необходимым на фабрике. Что же нам отвечают? — Не дадим прибора и баста. Пусть он стоит и пылится, мы будем им хвастаться перед экскурсиями. Это, конечно, мелкий момент. Но характерный. Что б ни предложила общественность, эти люди поступают напротив. — Имена назови, — раздалось в отравленном подозрениями молчании.

Это отсекр комсомола Матвей Рябенский с тонким и умным лицом. Он даже встал, возбужденный, празднично одетый в черную пару. Он сказал резко:

— Мы себя не позволим морочить.

И непонятно, к чему относилось его замечание, к словам ли Баха или к людям, которых Бах обвинял.

Все обернулись к нему с облегчением. Будто возглас его пробил в плотине отверстие.

— Правильно, Мотя, мы не позволим.

Вероятно, каждый из кричащих вкладывал в свой голос особое содержание. Кое-кто крикнул, заражаясь общим настроением протеста, не вполне еще решив против чего протестует.

— Назову, — сказал Бах.

Мальчишкин потянулся к звонку, но за притих сам собой.

— Имена назову, это дело не трудное. Но я хотел бы затронуть еще...

— После затронешь, давай имена.

Бах остановился и, как прежде, вынул платок.

— Я имею в виду Васнецова, — сказал он, сморкаясь, — когда говорю о приборе и ветре.

Зал замолчал. Все оглянулись. Васнецова не было в зале.

2

Нина подняла голову. В зале не было ни Васнецова, ни Ложкина. Нина побледнела, словно все сообщаемое Бахом относилось к ней лично.

— Где Васнецов? — спросил кто-то из зала.

— Он не явился, — расслышала Нина ответ. Она узнала ликующий голос Садовникова.

— Васнецов задержался на фабрике, — крикнул кто-то у стенки.

— Что ж, мы будем обсуждать без него. Важнейшие, волнующие всех нас вопросы мы постараемся разрешить сами в его отсутствии. Я надеюсь, мы справимся сами. Так я смею думать, товарищи.

Это Бах опять привлекал на свою сторону слушателей.

— Верно. Что ему особое приглашение надо? — раздавалось на передних скамьях.

— Тише — крикнул Мальчишкин.

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, товарищи, — Бах вытянул руку. — Нам еще надо долго работать. Всем, конечно, было известно, что сегодня собрание в клубе. Все достаточно оповещались. Но насильно мы не можем тянуть никого. Кто хочет повернуться спиной к фабричной общественности, пусть пеняет потом на себя.

— Правильно! — слышались возгласы.

— Может, случайно так вышло, могут подумать некоторые. Допустим. Но странно, что мы всегда сталкиваемся именно с такими случаями. И оказывается, товарищи, в жизни Васнецова таких случаев наберется не мало.

Ок авъвается, даже на прошлой его работе, в Барановке происходили те же истории. Мы имеем документы. Вот статья из барановской заводской газеты. Неуждно ли? Я прочту несколько строк.

— Просим, просим!

Бах раздельно читал. Он выбрал из материала ряд заключительных выводов. Дело стало особо серьезным. Теперь уже не кричали. Зал весь словно задумался. И, казалось, общее это раздумье воплотилось в лице Мальчишкина.

— Разрешите мне все-таки справку.— Это был тот же голос, объявлявший недавно о задержке Васнецова на фабрике.

— Подожди, — отозвался Мальчишкин.

— Мне два слова. — Голос принадлежал Короленке. Не дожидаясь разрешения, Короленко потянулся к ведущим на сцену ступенькам и, вбежав на них, объявил:

— Я, чтоб не было недоразумений. Я сам только что с фабрики. Васнецов там следит за ремонтом дефибрера. А не что нибудь. Я только это хотел...

— Кто тебе позволил говорить? — перебил его сердито Мальчишкин.

— Да, брось ты. Я кончил, — махнул рукой Короленко.

Посмотрев перед собой на наполненный зал, Короленко решил не спускаться обратно. Вспрыгнул на сцену и, не замечая строгого взгляда Мальчишкина, быстро прошел за кулисы. Там он закурил папиросу. Бах немедленно стал продолжать:

— Очень жаль, что так все сошлось. Хотя присмотреть за несложным ремонтом можно было поручить сменному мастеру.

— Это ты все привык поручать, — пробормотал Короленко, шаркая спичкой о короб. Закурив, он поднял лицо и почти наскочил на Зеленского. Тот сидел на плетеном соломенном кресле, служившем в спектаклях для показа буржуазного быта. Весь устремленный вперед.

готовый вбежать на сцену вместе с креслом в любую минуту.

— Тише! — затормошился Зеленский.

— И всего непонятней, всего вреднее, товарищи, — закруглял фразы Бах, — то обстоятельство, что здесь, в Ломже, в силу не то слабости, не то политической близости руководителей фабрики, есть тенденция смазывать острые углы. Вместо резкой постановки вопроса, когда же будут устранены неполадки, тут плетутся в хвосте у технического персонала, ждут пока ему заблагорассудится, например, увеличить скорость машины, надеются, что все само образуется.

— Где здесь телефон? — обратился Короленко к Зеленскому.

— Вы мне слушать мешаете, — дернулся резко Зеленский.

— Я спрашиваю, где телефон?

— Да почему я знаю? Кажется, в коридоре.

Громко стуча каблуками, Короленко зашагал в коридор.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Случилось, что он сразу попал на Васнецова. Тот, покончив с осмотром камня, уже некоторое время находился в своем кабинете. Он успел умыться и наспех прочел газетный листок, доставляемый ему аккуратно на стол. Умывшись, он предполагал тотчас бежать на собрание, но сейчас, после знакомства со статьей, присел на угол стола. Он почувствовал что-то вроде усталости. Тело отяжелело. Он весь сгорбился. Надо что-то обдумать, а мысли не приходили. Он вслушивался в шум цехов, запрудивший весь кабинет. Шум, для которого стенки из тонкого дерева не составляли преград.

Зажженная настольная лампа рядом с Васнецовым молчала. Пропитанный золотистым сиянием ее абажур успокаивал взгляд. Желтоватый свет расходился от нее по стенам, выясняя все прожилки, трещинки, темные пятна на сухих некрашенных досках. Лампа была единственной представительницей тишины в содрагавшейся, как парходная каюта, комнате, единственным предметом, работавшим совершенно беззвучно. Шум вокруг разлагался на три основных элемента. Во-первых, широкий, шерстяной трущийся шум ролевого цеха, общий шум, поступающий сюда от целлюлозных бассейнов. В него брошено быстрое, с повышениями и понижениями ударяющее, шипучее хлопанье треплющих целлюлозу барабанов, хлопанье сливавшееся и доходящее иногда

до ясности гласного звука. И, в-третьих, периодически — это уже из нижнего этажа — накатывался гул вала с зубьями, грызущего там целлюлозу. Гул, звучащий довольно высоко. Начинающийся на протяжном ы-ы-ы, разбегающийся до унылого у-у-у. И еще, в качестве дополнения, что-то начинает раздельно позванивать. Или рядом загремят молотки о железо в смежной механической мастерской. Или все проникнется свистом оттачиваемого металла. И каждая часть шума порознь, и вся его общая толща живут совершенно ритмично, в совершенно постоянных качаниях, за исключением ударов молотков в мастерской, выбегающих вразброд и случайно, что свидетельствует о работе вручную.

Васнецов сидел и казался внимательно слушающим. Но, возможно, слух его и не регистрировал шумы. Он к ним слишком привык. Он воспринимал их, как периодическую смену давлений воздуха на лицо, на плечи, на тело. Совершаясь вокруг, давления оставались немymi. В сознании была тишина. Но если бы вдруг машины примолкли, Васнецов, возможно, принял бы наступившую тишь за неожиданный гром. Васнецов сидел и минутами выглядел дремлющим.

Но он и не спал, и не слушал, и даже позабыл о статье. В этот замедленный, бездейственный промежуток, когда он уверен, его не видит никто, он почувствовал наплывы тоски. Да, тоска. Да, она впитывается в него сквозь все поры кожи, она содержится в воздухе. Он вдохнет, и ее станет больше в груди. Но ее обратно не выдохнуть.

В такие минуты он страшно ощущал свое тело. Как нечто постороннее разглядывал он его. И будто без кожных покровов. Все сплетения, вздутия, натяжения мышц. Их сухой корсет, надетый на спину и грудь, их толстые канаты, обкручивающие руки и ноги. Вот, меняет он положение, и тут ослабли их кишкообразные горячие связки, тут взбухли и теснее прижались друг к другу. И тогда хотелось не двигаться, чтоб не воротать,

не переталкивать с места на место эти выпуклые свертки материи, забинтовавшей человека по всем направлениям.

И затем, если еще становилось тоскливее, в теле открывалось иное. Мышечный покров становился бесформенным, дымчатым, как на рентгеновском снимке. Но зато наступало знание того, что укрыто под мышцами. Физическое ощущение костей. Вот сидишь, положив ногу на ногу. И внутри себя воспринимаешь точеные, странных форм трубки, стержни, поддерживающие конечности, до самых узких столбиков в пальцах, или сплюснутые лезвия ребер, образующих решеточный короб и места их прикрепления к составному стволу позвоночника — сухое ветвистое дерево человеческого костяка, и неправильный, с отверстиями шар, насаженный на вершину его, продолговатую крышку, и покатые височные впадины, и фасад округлого лба — шар, который тихо раскачивается, и вот-вот уронишь его перед собою на стол.

В этом не было ничего личного. Но ощущение какой-то несправедливости, всех возможных несправедливостей, совершающихся на земле, властно коснулось его. И необходимость исправить их, не потому, что ему самому стало бы лучше, а потому что правдивость друг к другу людей должна же скрепить жизнь, наконец, своим драгоценным цементом. Измениться, подняться над собою самим. Изменись, — говорила тоска.

Васнецов закрыл руками лицо. Шум цехов облегал его тело. Но он не слышал его. Внутри переливался другой, словно по спирали вращающийся, поднимающийся кверху до самого горла, пересекаемый хлопанием сердца гул, может, дикий гул крови, доходящий до напряженного, разогнанного до невыносимой ясности звона. И когда, казалось, мозг разорвется, раздался телефонный звонок.

„Что со мной? Почему это?“ — пронеслось в голове Васнецова.

Он взялся за телефонную трубку, и она показалась ему легкой, как соломина.

— Я живу, что со мной? — сказал он, чувствуя, что глаза его полны слез. — Да, да, да, — ответил он Короленке, вдруг охваченный любовью к его голосу, к нему самому, ко многим людям, будто вдруг обступившим его. — Да, да, да. Я сейчас приду, — не вполне понимал он слова Короленки, но улавливал, что тот призывает его.

И оглянувшись, опустив трубку на рычажок, и притих, готовый встретиться со всем, что еще может случиться. Он стоял, улыбаясь, и глаза его упали на стену, на большой лист бумаги с крупнонапечатанными строками. Васнецов читал их, вынимая из слов особое, впервые обнаруженное сейчас содержание, хотя знал весь текст наизусть. Это были двенадцать правил дефибрера.

„Никогда не следует брызгать холодной водой на горячий камень, — медленно разбирал Васнецов, — так как это может вызвать поломку...”

...при остановке... нужно тщательно закрыть все отверстия дефибрера... сукнами для предупреждения образования сквозняка...

...при возобновлении работы дефибрера после остановки надо так же осторожно приступить к делу, как при пуске нового камня. За это камень отблагодарит хорошей равномерной работой и долговременной службой...”

— Вот, вот, — кивал головой Васнецов, полный волнения. — Камень отблагодарит. Даже камень.

„...Никогда не надо забывать, что каждый камень состоит из твердого хрупкого материала и только тогда может выполнить хорошо работу, если с ним обращаются должным образом...”

— Даже камень. А мы? А каждый из нас?

„Обращаются должным образом...”

Он медленно шел по цехам.

После яркого освещения фабрики он попал во тьму, как в мешок. Прохлада радовала его. Васнецов вдыхал воздух, как вдыхают спасение. Не торопясь, покачиваясь из стороны в сторону, передвигался он по узкому настилу мостков, будто висящих над пропастью. Постепенно стал он различать низкое очертание зданий. Его домик определился недалеко от мостков. Он не сохранял света. Нина спит или ушла. Домработница спит или нет ее дома. В домике расположилось молчание.

Один момент Васнецову захотелось войти туда, не зажигая огня, добраться до дивана, лечь, вытянуться в темноте. Чгобы день миновал окончательно. Не до-вольно ли его в самом деле? Не выспаться ли, оторвавшись от текущих забот? А завтра, как ни в чем не бывало, обтереться холодной водой, отчего бодро прогревается кожа и дышется часто и весело. Тогда даже трудно представить себе, что на свете бывает усталость, так неправдоподобна она. Выпить чаю и снрва на фабрику. Как ни в чем не бывало. А может, завтра его отрежут от фабрики, — фабрика сама по себе и она в тебе не нуждается.

„Если я добывал ее годами учебы, и раньше годами войны и годами упорной барановской страды?..“

Впрочем, страда, в то же время и радость. Да, он жадничал, он объедался машинами. Тогда был период той любви к машинам, через которую он теперь перешел. „Бросьте надрываться, — говорил ему главный инженер, — берегите здоровье, успеете еще наработаться“. Но машины ослепляли его. Это был непрерывный запой. Он работал и на прессах, и сеточником, и добрался до сменного мастера. Сам, сам, все только сам, все ощупать своими руками. Исхудал и оброс бородой. „Где молодой инженер?“ — однажды поинтересовались иностран-

ные экскурсанты. И он вылез из чрева машины, — в то время происходила промывка, — он выкарабкался из-под валов, где прыгал по сукнам, помогая заправлять их между цилиндрами, вылез в грязнейшей, засыпанной бумажной крошкой блузе, в штанах, запятнанных маслом, с воспаленными глазами и волосами, слезавшими на лицо. Иностранцы в удивительно мягких и опрятных костюмах отодвинулись, когда он пошел к ним навстречу, хотя, выдержанные, пытались скрыть изумление, еще выросшие, когда он заговорил по-немецки. Он помнит, как, что-то им объясняя, он взял пневматический насос и счищал воздушной струей со своей головы и одежды светлую бумажную пыль. И они, не вникая в его объяснения, следили, как с удовольствием наклонял он голову, чтоб попасть под твердый столб воздуха, и как бумажная седина полосами снималась с волос и мелкие белые искры крутились вокруг его корпуса. Он готов был их всех попросить в машину и, словно угадав его намерение, гости стали прощаться. И одна девушка, в серебристо-синем костюме, все оглядывалась на него и в ее выпуклых синих глазах стоял откровенный смех.

Старые рабочие не слишком чтили его. Он не слишком внушал уважение. Однажды прессовщик заявил, что намерен встретить новый год. Васнецов заменил его на ночь, позабыв, что проработал весь день. На его долю выпало двадцать четыре часа. Голова стала прозрачной и пьяной. Но машина шла замечательно. И когда утром его поздравляли с новым годом, он не сразу понял, в чем дело, и подумал, что над ним издеваются, а подвыпивший прессовщик и вправду счел его дураком.

Да, он не ходил на собрания, и за это ему влетало в газете. У него не было времени на разговоры, так полагал он тогда. Он жил в плохонькой комнате, у него не было времени на уборку и топку. И если сжалившаяся уборщица не подкинет в печь пару полен, он просыпался в морозном воздухе и кулаком пробивал корку

льда, чтоб умыться. Его сочли антиобщественником и здорово прижали за это. И они были правы, он им благодарен теперь. Иначе его затоптали бы машины, он бы их не сумел поставить на место.

...Если он добывал ее, эту фабрику, то не ради своих интересов.

Васнецов шел и доказывал, с кем-то спорил во тьме. Тем более ожесточенно, что знал, на собрании о себе не скажет ни слова. Вообще-то он не терялся и умел сказать, когда надо. Но отнюдь не по личному поводу. Что помогут слова, если не спасают поступки? И все же хотелось доверия. Хоть немного, он не претендует на щедрость. Он — простой человек, что ему делать с избытком. Но просто — кружка воды, поданная после поспешного марша. Тут он вспомнил о Нине, но вовсе не в плане поддержки.

Что-то не то и не так. Выражением недовыясненности во всех очертаниях данного вопроса было появление Кускова. Тут поступлено легкомысленно. Тут сияла бездушность, тут было скольжение над поверхностью жизни, словно жизнь лишилась всех своих прав и дала отпускную этим двум людям. Но, оказывается, жизнь притворялась. И теперь поступают счета. Почему никогда он не вспомнил Кускова?

А теперь Кусков в Ломже. Если бы знал он, как занял сейчас Васнецов? Ну, а раньше? Раньше я был посвободней. И от той свободы не уделил Кускову ни крошки. У меня достало свободы извлекать его жену из дому и водить ее по всем скважинам ленинградских улиц. Достало честности подниматься в квартиру, когда тот находился в отсутствии. „Но ведь я любил ее“, сказал Васнецов. Это не оправдание. Любовь не превращает предательства в золото. „Знаю, знаю, — твердил Васнецов. — Знаю это и знаю другое“. Он вступил в полосу звуков. Разобщенно доходившие издали, теперь они скрепились воедино. Трубил военный рожок. Коротконогие столы без скатертей измазаны липким вином.

Двор таверны забросан окурками, скорлупой битых стаканов. Длинный желтый фонарь висит на железном крюке. Посетители разбрелись. Солдат дремлет в углу. Становится чуть холоднее. Звезды огромны и низки. Переползают огромные звезды через глиняную ограду двора. Ночь лежит по всем направлениям. Кто-то гулко идет по дороге. Подошвы стучат и стихают. Сюда никто не войдет. Двор, выкопанный в глубокой ночи, позабытый жизнью и временем.

Никого, ничего. Но откуда раздалась труба? Не слишком ли слаб ее голос? Хозе подымает лицо. Он с трудом понимает трубу. Какой неуверенный зов. Неужели же поздно и не добежать до казармы? А ты все танцуешь и радуешься. Нет, танцуешь и залишься. Танцуешь сама для себя. Мне трудно следить за тобой. Я, кажется, должен итти. Маленькие пыльные туфли не могут никак успокоиться. Тронут землю и оторвутся опять, все не находя себе места. Поздно. Задыхнулась труба. Ночь продолжается дальше.

Как я крепко знаю другое и вот не обвиняю никого. Разве только себя обвиню. Может, только себе не прощу. Например, был вечер, и набережная и все, что к ней относилось, — густая поверхность воды, повторяющая одни и те же складки, выпуклости и расходящиеся ленты течений и на той стороне плоские тени домов — все пропитано розовой пылью заката. И закат не в одном, отведенном ему участке неба, но равномерным матерчатым поясом обвивший весь горизонт, так что не понятно, где он настоящий и где его отражение. И только уходя вверх, небо приобретает лиловый оттенок, а над головой уже совсем затвердел его потолок, и белые искорки звезд процарапаны слегка, едва находимые, почти не удерживаемые глазами. Полоса заката сжимается, становясь тонким медным обручем и, сузившись, выделяет из себя изогнутую пластинку только что изготовленного месяца, как бы на память о своем непрочном сиянии, как бы передоверяя сияние это дом-

кому полукругу. И от острого, тихо съезжающего к зубьям крыш ободка изливается успокоение, умиряющее городскую подвижность.

Тут есть промежуток, который легко пропустить. И до него. И потом город грузно работает. Но есть момент мгновенного оцепенения.словно город на миг забывается, соскальзывает в сон и сам себя воспроизводит во сне. Легкий толчок и все, будто приподнявшись, раскачивается навесу. И сразу разговоры при-молкли, люди изумленно оглядываются, потеряв ощущение места и часа. Автомобили парят над землей, вцепившись пучками лучей в полумрак, колеса трамваев вращаются бешено, но их застекленные коробки не в силах сдвинуться дальше. Все словно немеет, подтянутое к легкому профилю месяца. Но это лишь миг удивления, равный удару сердца. И, стряхнув оцепенение, город бросается наперстывать время. Шум звонков, сирен, голосов разом вырывается из всех его щелей. Люди перешагнули во владение вечера. Все стало иным. Может это связано с окончательным отделением света от данной части земли.

И тогда идешь рядом с женщиной. Она не заметила мгновенного изменения мира. Женщины редко чувствуют время. Но она притихла на миг. Ей почему-то взгрустнулось. Или что-то припомнилось, относящееся к детству или старости. Она подняла лицо, удивленно раздвинула брови. Что собственно произошло? Ничего, она опять улыбается.

Еще недавно ее не знал Васнецов и не ощущал никакого ущерба. Жизнь достаточно занята, перегорожена тесно делами. Жизнь требует мужской любознательности упрямой предприимчивой зоркости. Васнецов не понимал чувства скуки. Если приходит уныние, нужно просто лечь на кровать, распустить мышцы, освободить мозг. И тело, предоставленное собственным ритмическим благородным законам, равномерным переталкиванием крови, чередованием вдохов и выдохов исправит все

повреждения, установит жизненное согласие с телом земли.

Мы сражаемся, мы вцепились в работу. Мы тащим из грязи завязшую до осей телегу истории. Мы закладываем наши слова и поступки, как динамитные шашки, в укрепления старого мира. Пусть взлетит он на воздух, освободив горизонт. Мы — жители первого дня новорожденной эпохи. Первый день. Первый возглас ее. Мы — начальная буква алфавита.

Во всех своих проявлениях мир притянул к мужественному к нему отношению. Он был повернут к Васнецову мужским непреклонным профилем. Но оказалось — есть на свете иное.

К ощущению правды присоединилось ощущение прелести. Линейность перспектив, гранность форм, пропитались трепетной живописью. И отнюдь не всегда сверкающей, яркой неразбавленными основными тонами, но мягкими соединениями красок, постепенным их проникновением одна в другую, когда гаснут резкие особенности каждой, но зато они слитно сияют глубокими, непередаемыми одним определением отливами. Оказалось, помимо разведенных в стороны, стройно очерченных площадей, существуют группы деревьев с их кротко сливающимися вершинами, округло прикасающимися к поверхности неба, ничего не утверждающими беспрекословно, но податливо отступающими под ветром, чтобы принять его и пропустить сквозь себя. Оказалось, кроме металлических целиком определившихся столбиков и завитков у чугунных оград, кроме отвесных плоскостей гранита, облицовавшего небережные, — есть сама вода, нераздельно скользящая, подчиненная незаметным наклонам почвы, неспособная удержаться на месте и в силу именно своей слабости животворящая плавным движением землю, уступчивая вода, растворяющая в себе свет фонарей, разделяющая цельные их лучи на отдельные, изменяющие форму пятна. Есть неустойчивые облака, распадающиеся в пути на тихие хлопья, наливающиеся солнечным све-

том, то гаснувшие, то разгорающиеся в зависимости от состояния зари. Есть не только предметы, но и тени предметов, немислимые сами по себе, но неотделимые спутники материальных вещей. Подчас более причудливые, чем формы их вызвавшие. Есть женственное лицо мира, скрывающееся повсюду. Оно не навязчиво, не всегда выступает наружу, но скрепляет его изнутри, углубляет и освещает его, и без тайного дыхания этой женской стихии жизнь распалась бы на части, как пересохла глина.

И не то чтобы Нина умела объяснить много нового. Наоборот, если кто и рассказывал, то рассказывал он. Но случайные жесты ее, перетекающие друг в друга, отдельные интонации, фразы, начатые и прерванные на половине, так вкляли в себя женственные элементы природы, так были ими порождены, что Васнецову оставалось только воспринимать их во всем их прямом красноречии. Он знакомился с этой природною силой в наиболее ее чистом образе, когда безличная стихия становится индивидуальным человеческим существом и говорит не на языке лучей, воздушных течений и запахов, а нашим житейским общедоступным жаргоном.

Он не идеализировал Нину. Между ними, если и образовалось товарищество, то не на условиях отвлеченного равенства. Он сообщал ей свои затруднения и планы, не рассчитывая на советы с ее стороны. Хотя в целом ряде случаев она легко могла выравнять его разбежавшиеся мысли конкретным своим замечанием, так как обладала отчетливым практическим смыслом. Но главное — рассмотреть свои обстоятельства в свете ее внимания, и тогда самому выбрать решение казалось особенно просто.

Они много гуляли, обновляя город своим присутствием и заново обсуждая его. Васнецов, отвыкший от центров в Бирановке и временно работавший в Ленинграде в ожидании нового назначения, был особенно восприимчив к особенностям городской обстановки. Его

волновала вечная тяга камней в высоту, образующая многоэтажные стены, вечное беспокойство правильно разделенных просторов, рассеченных полосами пешеходного движения, сменой трамваев, мгновенно рождающимися и тут же исчезающими автомобилями. Он уносил с собой целый ворох подробностей, казалось бы, ни к чему непригодных. Тут попадался какой-нибудь профиль парусного баркаса, замерший у навеса моста, резкий и хрупкий профиль с двумя неподвижно заостренными мачтами. Или один из пролетов садовой решетки, когда в облачении заката ее чугунные столбики выглядят деревянными палочками, уже опущенными в огонь и готовыми свихнувшись с донизу вспыхнуть. Или что-нибудь не только зрительное — момент отплытия летнего пароходика, когда воздух вдруг сдвигается с места и проходит впервые по плечам палубных пассажиров, а под ногами слышится шипенье воды. Или нечто еще более сложное — карусель, наивно сверкающая на вечерней площади, круговое блистающее парчевой палатки, тени людей в виляющих тележках и на коротких лошадаках, пестрые звуки шарманки, крики и восклицания, вся площадь, тархтящая и освещенная, будто причудливая фабрика, занятая производством веселья.

И все это было справедливо и правильно и не нуждалось в поправках. Но вот приезжает Кусков. Как же встретился Васнецов с ним в городе? Как он мог его отрицать?

— Знаю, знаю, — сказал Васнецов. Он приблизился к зданию клуба. Футбольная площадка пуста. Ночь, отгоняемая прежде криками игроков, властно перелилась через бруссы ограды. Вокруг клуба не осталось людей. Все давно вовлеклось внутрь помещения. Круг фонарного света ездил взад и вперед по земле. Подобно всем прежде вошедшим, Васнецов остановился перед крыльцом... „Ведь должно же быть что-нибудь в этом Кускове, если Нина любила его“. Васнецова наполнило желание найти положительные качества в существе того

человека, тем более, что себя он ощутил униженным ложью и трусостью. Вот сейчас, в кабинете на фабрике, он был поглощен размышлениями. Раздумывал о несправедливости, сам обездолив другого. Разве не боязнь отводила его от Кускова? Если не прямая боязнь Кускова, то боязнь разрушить свое спокойствие. Вместо того, чтобы лицом к лицу все разрешить и уладить, предпочел он выскочить из Ленинграда. Но внутренних решений не упразднить внешними перемещениями. Так понятно это сейчас. Встретиться и объясниться. Ведь мы же люди, у нас есть общий язык. И тогда все начнется сначала, все найдет свои имена. Что собственно подразумевал Васнецов под такой переменной, он и сам бы не мог объяснить. Все должно измениться, и я сам в первую очередь. Он вошел в клуб.

Васнецов тронул дверь, ведущую в зал, но она не поддавалась. Вероятно, там стояли сплошную стеной. Он прошел через маленькие, совершенно пустые комнаты, примыкавшие к главному залу. Он добрался до низенькой дверцы кулис. Поднявшись по лесенке, ощутил он в тупике. Между сценой и боковой декорацией. Сквозь прорезанное в декорациях окно площадка сцены стала видна. Из зрительного зала попадался в поле зрения край передней скамейки. Не сообщаясь с залом, Васнецов узнавал его состояние по хлопкам, гулам и возгласам или по тишине, временами наползавшей оттуда. Васнецов устал за дорогу и присел на табуретку. Но, услышав первые со сцены слова, он забыл об усталости.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

— ...Плетутся в хвосте у технического персонала...

Бах вел свою речь.

— Правильно! — снова гаркнул кто-то из слушателей.

— Какой там дурак надрывается? — поморщился Короленко.

Зеленский куда-то исчез, и Короленко завладел его креслом. Но сидеть ему не хотелось. Он держал кресло за спинку и перекачивал его с ножки на ножку.

— Какой там дурак?

Одобрение, действительно, было слишком громким. Несколько нагловатым, и кое-кто из слушателей недовольно повел головой. Самого крикуна Короленко не видел.

— ...Вдруг заболеют недоверием. Выдержанные руководители, безупречный народ. Но от переутомления или от болезни теряют классовое чутье... Во время гражданской войны переоценивают какого-нибудь кадрового офицера... При нэпе влюблялись в хозяйственников... А сейчас для некоторых самое святое слово — инженер... Ну, а дело ни с места. Но тогда освободи свой ответственный пост, не задерживай темпов. Мы сами поговорим с твоим инженером.

Зал заволокло молчанием. Бах тоже замолк. Он оглядывал аудиторию короткими, быстрыми взглядами.

— Ну, а конкретные факты? — опять приподнялся Мотя.

Бах выпил воды.

— А что делается здесь со скоростью? А бракованный вагон бумаги? — Бах рассказал всю историю. — Короче, бригада уверена, что рабочие опрокинут препятствие. Бах зачитал резолюцию: немедленное повышение выработки, освежить партруководство. Пересмотреть техперсонал. Поставить на вид директору. Все кончилось общими фразами, пышными и многочисленными.

Бах прочел так убедительно, так привлек внимание ко всему, что касалось обещаний, уверений и клятв, что по залу покатались приветствия. Оркестр, нарепетировавшись в верхних комнатах и проведенный под сцену Зеленским, по знаку его ударил Интернационал. Все встали и, когда присели потом, обрадованные и освеженные музыкой, показалось, что собрание кончено. Оркестр перевел настроение слушающих в иную, верхнюю плоскость, связав их со всеми, кто когда-либо вставал и двигался на пространствах Союза под этот же широкодышащий марш. И словно пройдя несколько шагов вместе с трубами, все разом заговорили, разминаясь и улыбаясь. Речь Баха осталась по ту сторону звукового барьера. Разумеется, надо всем подтянуться. Скорость? Кто против скорости? Все за высокую выработку.

— Что ж? Голосовать? Голосуй! — Бах сел рядом с Мальчишкиным.

Он представил уже, что закрыто собрание. Резолюция проведена. Вероятно, Ложкина снимут.

— Голосуй, — сказал Бах, уже видя взлетевшие руки. Мальчишкин не повернул головы.

— Товарищи, — наконец, приподнялся он медленно. Ему пришлось позвонить, прежде чем на него оглянулись. — Товарищи, — повторил он докучно. От него нельзя было отвязаться. Это в зале почувствовали. — Мы прослушали доклад и резолюцию, — закрипел он придиричиво и педантично. В круглое лицо его вставлены капельки пота.

- Знаем, — подтвердил кто-то насмешливо.
- Что ж, мы так ее примем? И не обсуждая?
- „Вот тупица“ — подумалось Баху.
- Важный доклад и ничего мы не скажем? — Мальчишкин отчитывал зал. — И вопросов нет? И поправок?
- Речь Баха приблизилась к мыслям собрания.
- Что же тут обсуждать? — сказал громко Садовников.
- Ну, ну, ну, — ответили в зале.
- Действительно, не проморгать бы. Люди снова подтягивались. Как чего обсуждать? Ну, устали, ну, хочется выйти на воздух. Но не слишком ли просто все кончилось.
- Перерыв! — закричали в рядах.
- Никаких перерывов!
- Голосуй перерыв!
- Бах увидел взлетевшие руки, но поводом для их поднятия не была его резолюция.
- Перерыв отклонили.

Первым выскочил от завкома молодой партиец Егоров. Он был в коротком костюмчике. Узенькие трубочки брюк, поддернутые выше щиколотки. И отдельно от брюк широкие растоптанные ботинки. Из трубок-рукавов — огромные загорелые кисти. Маленький, но коренастый, с восторженными глазами на выкате. Крохотный галстук бантиком под загнутым вперед подбородком.

Он умел во всем находить самые лучшие стороны. Доклад Баха ему пришелся по вкусу. Ведь там обращались к сознанию рабочих, возлагали надежды на фабрику.

— Мы не подкачаем, — вот с чем вышел Егоров. Он заговорил, не успев взобраться на сцену. И так и остался у барьера оркестра. Голос его громыл и свирепствовал. — Мы не сдадим. Ведь, к нам обращается партия.

Егоров говорил, захлебываясь. Но он только что слушал оркестр и, как всегда, при поступи гимна чувствовал себя до самых недр частицей рабочего класса. Класса, во имя которого он сто раз расстался бы с жизнью. Его выступления были быстры и приподняты. И, подтрунивая над ним, все любили его, зная полное его бескорыстие и готовность поделиться последним.

И на этот раз он от имени всех обещал все отдать для производства. Это было не ново ему, жизнь его и так вобрана в фабрику. Резолюция представлялась ему подходящей. Что ее обсуждать? Надо ворваться в работу и каждую область ее вознести на высоту. — Мы — рабочие Ломжи, — кричал он, вкладывая в эти слова особый торжественный смысл.

Но, разбивая преграды, Егоров меньше всего представлял их в виде товарища Ложкина. И речь свою кончил приветствиями директору и партколлективу.

Бах смотрел в затылок стоящего перед сценой Егорова. Свет, сглаживая лицо Баха, снял совсем его белевые брови. Темная трещинка рта, маленькие впадины глаз. Что то мертвящее было в этом гладко обточенном черепе, безучастно висящем над стеклянной шейкой графина. Но вот Бах шевельнулся.

Егоров закончил приветствиями, предлагая их включить в резолюцию.

— Простите, что я вне очереди. — Бах поднялся, позабыв попросить у председателя слово.

— Внеочередное замечание. — Лицо Баха запульсировало. — Отлично, что мы перешли к обсуждениям. Хорошо, что товарищ, сейчас говоривший...

— Егоров, — подсказали из зала.

— Да, Егоров, так живо выразил нашу готовность... — тут несколько одобрительных слов, — Ломжа... Ломжинский пролетариат...

Егоров, не успев отойти, смотрел снизу довольный на Баха.

— Хорошо, хорошо. Но из этой готовности нужны конкретные выводы. Нельзя бороться вообще, не представляя реально противника. И, конечно, ошибка ломжинского руководства именно в том коренится, что оно проглядело творческую инициативу масс, не умело правильно направить ее. Тем самым оторвалось от рабочих, срослось с чуждыми элементами.

— Правильно! — гаркнул голос, ретиво поддержавший Баха.

И направилась к сцене фигура. Невысокий мужик, с шеей, обвязанной шарфом. Он шел, ни на кого не смотря, пока не уперся в барьер. Вскинул руку, требуя слова. Мальчишкин кивнул головой, человек, отряхнувшись, полез по ступенькам. Там он расправился весь, словно собирався плясать, и будто запел, двигая перед лицом руками, выгребая из воздуха требуемые слова. — Товарищи дорогие, ясное дело, голубчики. Рабочий свою кровь отдает. Вот на бирже пилим вручную без сапог, без одежки. Ночь в болоте стоишь босиком. Опять же без рукавиц, руки все издерешь. Ну, а пища, известно, какая. А в контору приходишь просить сапоги, тебя чуть не в шею с порога. Все терпи да терпи, сколько лет это слышим. А приехал сюда инженер, ему квартирка готова. Он и ест, поди, не по-нашему. Он, конечно, начальство, его дело нами командовать. Значит, верно докладчик сказал, об массах никто не заботится. Инженеру почет, а рабочему — выкуси. Докладчик правильно гнул, надо нам за директора взяться: чью ты сторону держишь, массы или спецов? Ну, а если спецов, так советская власть не позволит. К нам не даром прислала бригаду советская власть. А потом, давай сапоги, без сапог работать не станем.

— Ну, пожалуй, станешь! — закричал Мотя из зала.

Орлов весь выкинулся вперед:

— Ты пойди вместо нас поработай. Ты полезь в болото в лаптях. Ты в конторе сидишь, вон какой разodelся красивый!

— Да ведь ты же сам в сапогах, — высунулся из-за кулис Короленко.

— Это собственные сапоги, значит я их и должен истратить? Я за них деньги платил, а они здесь в месяц сотрутся.

В зале поднялся шум:

— Довольно! Слезай!

Но группа сезонников яростно зааплодировала.

— Видно, правда не нравится, — надрывался Орлов. — На словах мы, рабочие, и такие, и сякие, — обхождение ласковое. А правду скажешь, тогда горло тебе перервут. Нет, товарищи, поскольку бригада стоит за рабочую жизнь, мы должны все предъявить. А то вы нас опять зажмите.

— Кто это вы, кто это мы? — Мотя схватился опять. — Прошу слова.

Но Бах уже встал у стола.

Было ясно, что он упразднил председателя и распоряжается собранием сам.

— Тише, тише, зачем волноваться? Конечно, Орлов перегнул, но, с другой стороны, почему же нельзя ему высказаться? Вопрос о сапогах, разве маловажный вопрос? С каких пор, скажите пожалуйста, большевики боятся обсуждать практические дела? А потом, что это за пренебрежение к бирже?

— Никакого пренебрежения нет, — буркнул Мотя, весь покраснев.

— А если нет, почему, когда выступает товарищ с биржи, в зале начинается шум? Товарищу не дают говорить. Я вообще замечаю — биржа у нас в загоне. Между тем это отстающий участок. Его следует укрепить. Предлагаю указать в резолюции, что рабочие биржи нуждаются в прозодежде и обуви.

— Браво! Ура! — грохотали сезонники. Их обнаружилось в зале изрядно.

— Я просил слова. — Мотя стремился вперед.

— Получите в очередь. Слово имеет Садовников.

Бах вел собрание сам.

Васнецов застал тот момент, когда Бах покончил с Егоровым. Егоров, стоящий у сцены, постепенно перестал улыбаться. Он смотрел на Баха, как на фокусника, который, попросив у него шапку, из этой знакомой до последнего пятнышка вещи стал выпускать голубей. Первым голубем оказался Орлов.

„Вот сейчас скажет Ложкин, — решил Васнецов. — Нет, слово имеет Садовников. Где же Ложкин?“

Тут он сообразил, что если бы Ложкин присутствовал, он, конечно, бы находился на сцене. Садовников не предполагал выступать и, услышав свое имя, подумал, что вышла ошибка. Он взглянул в испуге на Баха, но тот отозвался: „Пожалуйста“. Садовников похолодел, но возражать не решился.

— Собственно, все уже ясно. Товарищ Бах говорил откровенно. Мы должны быть откровенными тоже.

Он не знал, о чем говорить. Бах его перебил: — Товарищ Садовников — старый работник. Он делился с нами отдельными фактами. Я надеюсь, он нам сообщит их достаточно. — Садовникову стало жарко. Бах будто сжал его шею и слегка надавливал пальцами. — Ну, — сказал Бах.

Садовников переступил с ноги на ногу:

— Шепчемся по углам. А нельзя скрывать ничего. — В голове мелькнул евангельский текст, что все тайное станет явным. „Нет, это нельзя“. — Все равно, все станет известным, — произнес он с ужасом. — „Что собственно я говорю?“ — Атмосфера нездоровая в Ломже. Каждый из нас должен все показать, как... — Чуть было не сказал, как на исповеди. Он запнулся. Ему показалось, Бах опять сказал свое. — „Ну, не сказал, так скажет. Необходимо спастись“. — Ну, — сказал Садовников сам. — Разве с нами Васнецов сошелся, с прежними работниками

Ломжи? Он себя держал обособленно. Как крупнейший специалист. А нам вагон браку вернули. За чьей подписью отправлен заказ? За подписью Васнецова. Я кончаю, я кратенько. — „Надо высвободить шею из пальцев товарища Баха“. — Скорость прежде всего. Темпы повысить немедленно. Надо принять резолюцию без малейших поправок.

Кричали, стучали, хлопали. Не понять, кто против, кто за.

— Голосуй! — надрывался Орлов.

— Правильно!

— Нет, неправильно!

Бах звонил:

— Да, нельзя же, товарищи. Верное выступление. Лучшие представители технического персонала идут вместе с нами.

— Неправильное выступление!

„Где же Ложкин? — Васнецов прислонился лицом к холостяной стене декорации. И, казалось, речь идет не о нем, до того все было нелепо. — Защищать себя самому? Почему Ложкина нет? Если он совсем не явился, значит вопрос предрешен. — Он стоял, как в безвоздушном пространстве. Как на собственных похоронах.

— Товарищи! — раздалось со сцены. Там оказался Панаев. Он стоял, наклонив голову, будто падал всем телом вперед. Руки держал по швам. Возвышался на сцене, как памятник. В позе его была такая готовность ждать, что шум затих сам собой. — Товарищи! — сказал он с расстановкой, словно делясь воспоминаниями. — Мы сегодня подняли скорость машины. Товарищ Васнецов разрешил, но я говорю, — скорость нельзя подымать.

Он вздохнул, как бы вынужденный признаться в тяжелом проступке. И замолчал. Ему было теперь все равно.

— Почему? — спросил Бах.

В заце стало так тихо, что слышалось дыхание людей.

Панаев не повернул головы.

— Почему? — повторил он задумчиво. — Да, ведь мы машину сломали. Дефибрер умер два. Я кричал Ларкину пусть скорее работает. Я виноват. Скорость нельзя увеличивать.

Он опять остановился. Зал смотрел на него.

— Ты может хочешь что-нибудь сказать Панаев еще? — будто проснулся Мальчишкин.

— Кто? Я? Больше не хочу ничего.

Но со сцены он не уходил. По залу прошел говорок. Что делать с только что высказанным? И, пользуясь недоумением слушателей, Бах опять осторожно вмешался: — Очень грустно, когда лучшие рабочие фабрики заражаются упадочными настроениями. Кто здесь виноват?

Панаев понял, что роль его кончена и стал сходить по ступенькам. Все провожали глазами его, как человека, с которым случилось несчастье. Даже Бах должен был переждать, пока Панаев скрылся в толпе.

— Мы присутствуем при тонкой игре. На фабрике идет борьба за скорость. Нас постоянно уверяют, что скорость повышать преждевременно. И вдруг в последний момент, в день важного собрания скорость повышают стремительно. Повышает то самое лицо, которое было до сих пор против скорости. Странный маневр, не правда ли? Но ничего странного нет. Без предварительного осмотра машин, без разъяснительной работы в смене скорость взлетает толчком. В результате — авария. Для чего это сделано? Да именно, чтобы создать у рабочих впечатление, что скорость вредна, скорость ломает машины. Теперь к нам придут и заявят — надо работать медленно, машина не выдерживает скорости. Здесь уловка. Нас хотят обмануть.

Речь была столь логична, что впервые сейчас большинство поверило Баху.

— Разрешите мне справку, — сказал тогда Васнецов.

Он выдвинулся на сцену, понимая, — медлить нельзя. Зал лежал перед ним. Желтый воздух, качающиеся лица,

стучащие друг о друга ладони. Неужели же все это против него? Где же Ложкин? Почему его нет?

Васнецов не смотрел на Баха, хотя тот находился рядом. Он чувствовал его, как чувствуют, что поблизости яма. Бесцветная полость, имеющая человеческие очертания. И не туда, а прямо в аудиторию Васнецов послал свое сообщение:

— Я должен сказать, что Панаев неправ. Камень де-фибрера треснул вовсе не от быстрой работы. Я исследовал камень, он треснул бы при любой скорости. Внутри камня обнаружили раковины. Скорость увеличивать можно. При хорошей массе и после полной проверки машин.

И затем он повернулся. „Что еще нужно сказать?“ Дальше шло все личное, личное. Не касающееся производства. Обвинение личное, всякое. Он двигался за кулисами, затем выбрался в коридор. „Если Ложкина нет, значит вопрос предрешен. Вот о камне сказать было надо, чтоб не липли вздорные слухи. Ах, Панаев! Как это на нем отразилось. — Васнецов вышел на воздух. — Чернота после клуба какая. Вот еще я забыл о вагоне. Вот о нем напрасно смолчал. Позабыл об этом вагоне. Все равно теперь. Все равно“.

4

— Следовало бы ожидать, что товарищ признает ошибки — опомнился Бах, удивленный появлением Васнецова и еще более внезапным уходом его. — Ожидать следовало, что товарищ... Поскольку слышал он, что говорилось... стать спиной ко всем нашим доводам... Это брошен вызов собранию. Предлагаю квалифицировать выходку... картина ясна. Голосую резолюцию в целом.

Откладывать было нельзя. Васнецов мог вернуться. „Непонятно, куда он исчез. Да, он просто дурак, Васнецов“.

— Кто за резолюцию в целом?

Люди были взяты врасплох. Короткий момент замешательства. Кто-то поднял руку и спрятал. Но вот вскинуто несколько ладоней. Первыми откланкулись сезонники. Руки тянулись пучками в разных направлениях зала. Присоединялись наиболее слабые, привыкшие голосовать, не задумываясь. Наименее заинтересованные в действительном разрешении дела. Количество рук увеличивалось, и это подгоняло колеблющихся. Кое-кто из более сознательных тоже тронулся с места. Ведь, действительно, Васнецов не объяснился. Почему же Баху не верить? Некоторые из тех, кто воздерживался, вдруг в тревоге увидел, что каждый из них в одиночестве охвачен соседями голосующими „за“.

— Явное большинство! — крикнул Бах, не давая подсчитывать и уловив, когда число рук прибывать перестало.

Руки соскользнули обратно.

И когда снизились руки и люди оглянулись друг на друга, удивляясь, неужели так просто, до неловкости быстро переступили через серьезный барьер и назад нельзя возвратиться, а Бах перевел дух, освобождая голову от подробностей только что проведенной игры, и подумал, что собрание надо закрыть, что он проголодался и пора возвращаться в гостиницу, что напрасно он все-таки разволновался, имея столько преимуществ перед всем составом сидящих, рядом с Бахом вскочил человек, произведя неожиданный шум.

Это подпрыгнул Мальчишкин. Сдвинутый Бахом на угол стола, позабытый председатель собрания, все время опаздывавший вмешиваться, не находивший кстати ни мыслей, ни слов, грузный, медлительный, он выскочил из-за стола, как выскакивают из окопа, когда поздно соображать, но надо бросаться в атаку.

— Товарищи. Я возражаю. Так нельзя! Неверно, товарищи!

Зал с шумом подался вперед. Снизу выкрикнул Мотя:

— Мне не дали слова. Я хотел говорить!

Но прежде чем Бах принял меры в связи с Мальчишкиным, Мотей и вдруг загрохотавшей невнятно толпой, от противоположного конца зала послышались слова только что вошедшего в двери, перед которым расступились рабочие, слова, приближавшиеся по проходу: — Против чего ты так возражаешь, Мальчишкин?

Затонувший в аплодисментах голос только что вошедшего Ложкина.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

После встречи с Ниной Кусков возвратился в гостиницу. Он весь подтянулся, вид его был необыкновенно корректен. Он тихо вошел по ступенькам, механически их пересчитывая. Его тело пересекало корридор, негнувшееся, будто скрепленное проволокой.

— Извините, — сказал он встретившейся по дороге уборщице, хотя совсем ее не задел. — Извините, — и губы сложились в улыбку. Улыбка будто въелась в лицо. Губы трудно было вправить обратно.

Уборщица оглянулась на него с удивлением. Кусков отпер дверь номера.

Мышцы лица не подчинялись ему. Нижняя челюсть дрожала. Кусков стал у зеркального шкапа и поправил покривившийся галстук. Что-то надо еще предпринять. Он вздохнул и сел у стола.

Вещи тихо окружали его.

Их было небольшое количество, собравшихся в комнате предметов. Железная кровать с плоской твердой подушкой. Вдоль кровати вытянулся Кусков, как вытягивались до него уже многие. Безразличная кровать с металлическими прутьями у изголовья, пристанище случайных сновидений. Стол, поддерживающий локти Кускова, хранящий неразличимые глазом отпечатки бесчисленных прикосновений. Шкап, чья пыльная камера отдавала непроветренной затхлостью. Предметы, пред-

адававшие услуги множеству посетителей и не связанные ни с одним из них прочно. Обособившиеся от хозяев, неспособные на близость с людьми. Замкнувшаяся в угрюмой самостоятельности, непроницаемая для общения мебель.

Такова теперь его жизнь. Кускову предстоит встречаться с такими вещами. Временно опускать свою тень на стены временных комнат. Менять их оштукатуренные или оклеенные разноцветной бумагой обложки. Прочитывать прикрепленные к окнам пейзажи. Впрочем, слово пейзаж вряд ли уместно. Кусков — городской человек. Вернее, это будут профили стен, изъеденные то морозом, то пылью, графленные кирпичные кладки или глаженный серый бетон. Может, покатые площади крыш с иссохшим частоколом антенны. И между стенами и крышами — заблудившийся, пропитанный дымом кусок городского прямоугольного неба.

А над жизнью могла б сиять слава. Как пурпурный закатный венец. Подобный тем, какие пришлось наблюдать Кускову поздней осенью в северной местности над морским пустынным заливом. Над его наползающим рокотом, над тусклыми складками пен, тяжело сающихся на холодный мокрый песок, над развернутой полукругом гладью, по ртутной поверхности которой взгляд скользил, как по льду, без задержек. И над всем этим оказывался, как бы ветром принесенные издали, полосы вишневого воздуха. Их яркость была столь густа, что, казалось, исчерпав свои силы, она, вот-вот перейдет в черноту. Она была так вещественна, так тяжела по сравнению с бестелесной прозрачностью остального неба, что представлялось непонятным, как она не разорвет всю его невесомую пленку и не свергнется вниз, перепутав все в мироздании. Но закат разрастался все выше в своем погребальном величии. И окропленные его торжеством прямилась красные канделябры сосен, раскаленными противнями стояли стекла заколоченных дач и покорно розовела вода.

Это был чистый вид славы, пугающий своей недоступностью. Грозное олицетворение ее, непосильное для человеческих плеч. И все это выдумка, вздор, напрасно заслоняющий жизнь. Вокруг дежурит равнодушная мебель. Над гостиницей — ночь.

И Кусков ясно представил, как лет через десять-пятнадцать он идет постаревший по городу. Ноябрьский мокрый денек. Дождь ложится тихими сетками. Лужи в мелких царапинах непрерывно сающихся капель. Кусков в заношенном стертом пальто с плохо пришитыми пуговицами. Сыро ногам, и от этого во всем теле ощущение неопрятности. Может, что-нибудь изменилось у людей, земля приобрела новые качества. Но Кусков ничего не достиг.

Ему хочется закурить, и он заходит в подъезд. Влажными от дождя пальцами он достает коробок Картонный пакетик раздавлен, и папиросы поломаны. Он долго ищет уцелевшую, вытаскивает одну за другой. Табачные крошки прилипают к рукам. У него нет денег взять в киоске новую пачку.

Кусков вздрогнул, выпрямился. Ему казалось — он вскочил и бежит по комнате взад и вперед. Расшибается головою о дверь. Уши заливаются шумом, и красный шар с треском лопается в глазах. Он теряет сознание и вот — падает в небытие, как в теплую, мутную воду. Но это только казалось ему. Он сидел попрежнему и со стороны представлялся спокойным.

Ему, действительно, хотелось курить. Папиросы были в порядке. Но спички он, верно, оставил у Нины.

Кусков долго соображал. Что собственно он обдумывал, вряд ли он сам понимал. Будто каждый простейший образ ему нужно осмысливать заново. Будто он был единственным на земле человеком и на его обязанности назвать каждый предмет и каждое состояние и связать их мыслительными мостами. Все разобщено, и связи отыскиваются трудно. Спички. Нина. Курить. Коробка спичек становилась большой, словно товарный вагон.

Из слова Нина излучалось страдание. В этих условиях каждый жест Кускова приобретал особую значимость. Он поднялся и открыл дверь в коридор.

Да, они заставляют его провести неудачную жизнь. Последней точкой которой является перебирание папирос там, в подъезде. Может быть, предпоследней, так как дальше можно увидеть, как Кусков снимает шляпу и вытягивает руку вперед. Дождь влажнит дно шляпы, и кружок медной монеты уронен каким-то прохожим.

Он, возможно, провел эту жизнь и уже закончил ее. Прожил многие жизни и мог бы их перечислить. Они радиусами расходятся от его существа. Все его возможные жизни. И он их все отвергает. Ничего общего с живыми он не согласен иметь.

Коридор совершенно замолк. Нигде ни голосов, ни шагов.

„Спички“ — думал Кусков.

Он не знал, что все обитатели выбрались в клуб на собрание.

Маленькая грушевидная лампочка замерла в конце коридора. Ее неподвижный свет, казалось, усилил тишину. Двери с черными цифрами повторяли одна другую. Одинаковые металлические ручки были одинаково скошены. Будто в зеркалах отражалась одна и та же белой краской покрытая деревянная плоскость. И разные цифры отмечали количество таких отражений.

Но одна дверь выделялась. Она была неплотно прикрыта. Из-за этого отличия она казалась единственной существующей действительно. Как бы готовой начать в свою очередь ряд отражений. Кусков к ней подошел. В замочной скважине свет.

Кусков напрягся и слушал.

Он воспринял легкий шумок. Но такой именно, который порождается полным молчанием. Когда воздух перемещается сам собой, не подталкиваемый ничем извне. Или кровь шелестит. Или тихо толкается сердце. Кусков стукнул пальцами в дверь. Ему никто не ответил.

— Извините, — сказал он любезно и взялся осторожно за ручку. Номер, однако, был пуст. Очевидно, уходя второпях, хозяева его не замкнули. Кусков стоял и оглядывался.

Спички увидел он сразу. На столе приоткрытая желтенькая коробка хрупко и чисто блестела под висячей на блоке лампой. Кусков потянулся за спичками. Издалека, словно боясь шагнуть лишний раз.

А со спичками рядом — револьвер.

Кусков отвел руку и стал тянуть ее снова. Он двигался, как в замедленном кино, и жесты длились минуты. Внизу стукнула наружная дверь. Что если придут и застанут? Надо стряхнуть этот воздух, захоронивший в себе его тело.

Но он все-таки стоял неподвижно.

Шаги поднимались по лестнице.

„Пойман“ — подумал Кусков. Рука тянулась за спичками. Кусков видел ее вдалеке, как выделившуюся из него часть материи. Вдруг он быстро повернулся на цыпочках. Шаги дошли до площадки. Сжатый воздух номера вытолкнул Кускова наружу. Уборщица шла навстречу. Револьвер он сунул на грудь, во внутренний карман пиджака, и тот сразу оттянул ему костюм и заставил Кускова сгорбиться.

— Извините, — сказал он уборщице, совершенно машинально, но вежливо.

... По мосткам от клуба уходил человек. Кусков не удивился, узнав Васнецова. И тихо двинулся вслед.

Васнецов сообразил, что выступил на собрании глупо. Глупость стала особенно явной в окружении ночи, куда он спустился теперь. Ночь была так материальна, состояла из таких полноценных веществ — из ровно пересекающегося в одном направлении воздуха, не дошедшего

и этой тяге до степени ветра, из куполообразной тишины, из устойчивой почвы, из незыблемой тьмы — ночь была так справедлива в просторных своих проявлениях, что огорчения Васнецова не могли найти в ней пристанища.

Темнота, впрочем, для привыкавшего глаза начинала редеть. Как бы бурела, чем выше она находилась. Определялся совсем наверху коричневатый настил облаков. Быстро движущийся и кое-где рвущийся. Открывавшиеся и устранимые снова отверстия наполнялись мгновенно мерцанием крохотных северных звезд. Звезды словно сбегались со всех сторон сферы, чтобы проверить существование земли. У самого горизонта чувствовался серый оттенок — посмертная память о давно удалившемся дне. И все это опиралось на твердую тьму, уже окончательно черную, на минеральную тьму, выражавшую поверхность земли.

Васнецов сделал глупость. Зачем было вырываться на сцену с отрывистой, невразумительной справкой. Не войдя в течение прений, не сгруппировав осмотрительно доводы. Что могли рабочие вынести из бессвязного его заявления? Разумеется, он проиграл. Но дело не в личном провале.

Трех недель еще не было, как он принял бумажную фабрику. Его цель, как и всех здесь работающих, поднять и укрепить производство.

Он проверил первым делом машины и застал их в отличном порядке. Это было заслугой рабочих и заслугой товарища Ложкина. Заслугой организации, результатом внимания каждого. Они боялись вторгаться во внутренний распорядок машин, не владея достаточной осведомленностью. И они были правы. Их задачей было — на вытянутых руках донести фабрику, как сосуд с водой, до благоприятного времени, и чтоб вода не расплескалась в пути.

Васнецов привез с собой известные сведения. Это не были самоуверенные полужнания недоучки. Даже некоторая робость окрашивала все, что он умел. Робость,

вызываемая убеждением, что каждая часть механизма не абсолютно повторяет такую же, виденную ранее часть. Но имеет свои особенности и к ним следует приглядеться. Если даже отличия эти можно сбросить за их незначительностью, то сырье, принимаемое фабрикой, не бывает непогрешимо стандартным. И такое соотношение между обычным для данного района сырьем и перестраивающим его сообществом механизмов следует изучить, или, вернее, почувствовать.

Тут была и прямая причина, заставляющая выжидать с ускорением, — отсутствие резервного вала, сданного в ремонт в Ленинград. Вал ждали со дня на день, и это известно бригаде. На данном обстоятельстве надо было остановиться подробно, чтобы всем стали понятны его временность и устранимость. И, однако, весомость его, призывающая к усиленной зоркости.

При таком положении, доводя каждый день до конца, Васнецов облегченно вздыхал. Вот, пока обошлось без поломки. Может, завтра прибудет заместитель на подмогу утомленному валу. Но к дню примыкала не менее деловитая ночь. Близкий, беспромежуточный грохот фабрики просачивался в сны Васнецова, недостаточно закупоренные, пропускающие в себя озабоченность. И утрами до умывания Васнецов подбегал к телефону. Он словно смотрел сквозь него внутрь цехов. Спрашивался о температуре машин, будто — врач о пациентах.

В то же время он чувствовал всеми владеющее ожидание. Оно подымалось, как подымается масса воды, набухая изнутри, преодолевая собственную тяжесть, чтобы принять форму волны и на вершине подъема последним следствием напряжения образовать кайму пены. Это было желание всех участников производства, выйти из нейтрального состояния оберегателей машин и предпринять решающие действия. Такое желание знал и сам Васнецов, оно являлось частью общего огромного стремления к перестановке действительности, разлившегося по всему пространству страны, наиболее осязаемого

в точках городов и строительстве, но последние ответвления которого пульсировали в самых тесных и малолюдных окраинах.

Это общее чувство было той же природы, как некогда охватившая, отобравшая людей и скрепившая их необходимость противостоять всему миру в годы гражданской войны. И тот, кто не воспринял его, не мог считать себя причастным к действительности, а разве только живущим во сне. Такому чувству было бы дико ставить препятствия, и в повышенной его жизненности Васнецов не мог сомневаться. Потому-то он был убежден, что фабрика обязательно выпрямится. Даже независимо от его усилий, даже если Васнецова не будет. Но ему хотелось участвовать в проявлениях этого чувства.

И однако его нельзя пускать вхолостую, как нельзя бесполезно выбрасывать стиснутый пар из котла.

Все это следовало, вероятно, сказать, хотя и другими словами. Даже если только о скорости, то и здесь развить основательней. Вопреки заявлению Панаева, скорость вполне безопасна. Нужен только запропастившийся вал и повышенная зоркость рабочих. Новый метод соревнования, но это лучше бы выразил Ложкин. С ним и раньше были беседы. Почему же он не пришел? Ну, а Бах? Как тот объяснялся?

Это представить не трудно. Труднее понять его цели. Даже зрительно Баха Васнецов воображал не без усилий. Словно Бах был отвлеченной идеей, и она томит своей непонятностью. Васнецов работал на фабрике, Бах разговаривал в клубе. Но разве фраза сильнее труда? Тень, отбрасываемая предметом, передразнивающая его в неестественно растянутых очертаниях, тень весомей чем самый объект?

Васнецов оказался на бирже.

Сюда по озеру переталкивались бревна и цепью втягивались на высокий помост. Оттуда сбрасывались на землю для распилки по определенному размеру. Сейчас лебедка молчала. Бревна дежали холмами. Флаконы

электрические лампы дежурили между холмов. Васнецов не бывал здесь ночью. Беспорядочные груды стволов, слабо желтеющий коленчатый профиль лебедки, стеклянные пятна ламп — все напоминало вымысел беспорядочного режиссера, неудобное оформление сцены, лишенной актеров, неохваченной зрителями. Доносилось бряцание пилы, ночная смена пыльщиков заготавливала товар дефибрирам.

Васнецов взобрался на насыпь. Здесь проложена узкоколейка для доставки бревен на фабрику. Васнецов переступал со шпалы на шпалу. Нога не сразу находила опору. Скоро выбрался он из бревенчатых складов. Ему хотелось забраться подальше.

Насыпь ощутимо загнулась. Светлые проколы ламп остались за поворотом. Ночь легла вокруг, как туннель. Васнецову показалось, что он слышит шаги. Но, пожалуй, то ветер бережно трогал кустарники. По прохладной влажности воздуха рядом чувствовалось присутствие озера.

„Неужели придется уехать? — Васнецов брел спотыкаясь? — Как трудно зарабатывается жизнь. И почему здесь нет фонарей? Ведь биржа вскармливает фабрику. Нужно укрепление насыпи. Паровичку легко сойти с рельс. Как за всем уследить одному? — Он провел рукой по лицу. — Да, зачем теперь это мне? Меня завтра могут убрать. Я больше этих мест не увижу. Никогда сюда не вернусь. И это похоже на смерть. Все разом от меня отпадает. Все затеряется в прошлом. В огромных резервуарах его, в бестелесных, вязких глубинах“. У Васнецова сжалось дыхание. Световая башня гидростанции выделилась за поворотом.

Микешкин слонялся без толку. Держа мандолину за шейку, иногда подхватывая ее под руку с тем, чтобы,

высипав несколько звуков, снова забыть об инструменте. Заглянул он и в клуб, но там Бах говорит, говорит. Ничему, исходящему от Баха, Микешкин не доверял.

Чем питалось такое отталкивание, Микешкину было не ясно. Дело тут вовсе не в строгости, какая отделялась от Баха. Микешкин чтит строгих людей, даже завидовал им. Некоторым, например, мастерам типографии, где Микешкин работал обычно. Знание не должно быть легкомысленным. Сведущий человек бережлив на слова. Его фразы видны издали, как заглавия на книжных обложках. Но зато и сжаты они и над ними стоит размыслить.

Но ничто так не утомляет, как поверхностное руководство, незаинтересованное в благосостоянии дела, не выискивающее наилучших условий. Оно холодит атмосферу и унижает работающих. В таких случаях тянуло Микешкина всячески проявлять свой протест.

И главное, при таком взгляде сверху, не принимающем в себя подробностей окружающего, а скорее отталкивающим действительность, немыслим верный порядок. Даже если в хозяйстве занято три человека. Они не располагаются правильно, и то сбивается в кучу, опровергая и оттесняя друг друга, то растягиваются в разные стороны, потеряв необходимую связь.

„Труба“, — измерил Микешкин представлявшееся ему положение.

Он стоял позади клуба у глухой деревянной стены. Ничего не добиралось до него из происходящего в здании. Волнения прочно запрятаны внутри деревянной скорлупы. Микешкин знал о существовании волнений. Но в нем крепко сидела уверенность — Баха выведут на чистую воду. Уже если редакции не сумел поставить, куда ему справиться с фабрикой? Однако Микешкин скучал. Дело слишком затягивалось. Знай он бумажное производство, как, например, распределение шрифта в отделениях наборной кассы, он поднялся бы и зая-

бил... Но тут мысли его пресекались. Не было достаточной почвы для их победного марша.

Он оперся спиной о стену. Над ним тихо и вогнуто раскрывалось темное небо. Оно не занимало Микешкина. Он любил определенные вещи, которые можно держать, понимать, из чего они сделаны, пригодные для работы или для отдыха, открыто и честно обслуживающие человека. Из их многообразного мира, с которым всюду встречаешься запросто, Микешкин ценил два семейства: те, что ведают освещением и те, что способствуют передвижению. Он подчас сожалел, что не вышел в шоферы. Его привлекали автобусы, в голубое окрашенные комнаты, наползающие бесшумно и веско. Он готов был проехать маршрут от конца до конца, особенно заняв переднее место, и следить, как по стеклу перекачивается разделяющаяся надвое улица. Боязливо разбегаются люди, растерянно переживают. А пружинистый кузов подскакивает, отбрасываемый мостовой, или, попав на асфальт, вытягивается в длинном полете. Но Ломжа бедна фонарями, и автомобилям здесь нечего делать. Микешкин даже вздохнул, но вдруг повернулся на месте.

Он расслышал храпящий шумок, словно трущийся об обивку ночи. Это было ответом на его мысли и сначала он не поверил. Нет, храпенье расширилось, протерев насквозь тишину. И как два сияющих диска в той части ночи, где работали рокоты, вдруг поднялось два фонаря.

Они, казалось, стояли на месте, но увеличивали силу свечения. Потом сдвинулись в бок, будто переставленные чьей-то рукой. Их слепительные круги перестали разглядывать Микешкина. Но зато в бок поползли два световые столба, плавно трогающие бараки и землю. Бараки вспыхивали по частям от их властных прикосновений и, как бы взлетев над землей, поглощались опять темнотою. То же было с кустарниками и деревьями, мгновенно выраставшими, неестественно голубовато окрашенными и будто обугливающимися дочерна, только луч отделился

от них. В том, что это катилась машина, Микешкин не мог сомневаться. Его сердце забилось, обрадованное неожиданной встречей.

— Осторожно идет, — думал Микешкин. — Плохая дорога. И кого б это принесло.

Машина обогнула футбольную площадку, фонари описали дугу. Микешкин обходил клуб, следуя поворотам машины. Кузов не различался, и единственной целью мотора, теперь раздельно и внятно kloкочущего, казалось, была выработка этих двух лучевых, широко расходящихся конусов. Микешкин подбежал ко входу в клуб в тот момент, когда машина приблизилась. Она остановилась, еще разговаривая на своем шумовом языке. Но вот замолчала и последний отголосок рокота растаял над ней, как тает папиросный дым.

Это был простенький Форд, аккуратная кубическая шкатулка. Было странно представить теперь, что такой домашний предмет столь беззастенчиво обращался с тишиною и мраком. Безопасный, смирный футляр, испещренный брызгами грязи.

Но именно его простота пришлась по нраву Микешкину.

— Ишь, ты, чорт! Верно из города. Выносливый, всюду пройдет. — Ему захотелось хлопнуть ладонью по выпуклой синеватой обшивке.

Тогда дверца открылась. На землю сошел человек. Он сошел именно так, как считал должным Микешкин. Нагнул голову в такой степени, что его мягкая шляпа не зацепилась о верхнюю раму, и послал дверцу назад, не оглядываясь, уверенный, что она, щелкнув, вложится в стенку. Он держал светлое летнее пальто на руке и выпрямился рядом с Микешкиным. Сделал шаг в сторону клуба, но, заметив, что его наблюдают, повернул вопросительно голову.

Микешкин весь подтянулся, почему-то чрезвычайно довольный. Словно сам он своим ожиданием вызвал появление машины. Будто высланный навстречу приезжему,

он смотрел на него, улыбаясь. Человек рассмотрел Микешкина и тоже в ответ улыбнулся.

Он был лет сорока пяти с продолговатым спокойным лицом.

— Ну, что? — спросил он Микешкина, — собрание еще продолжается?

Микешкин ждал обращения и принял вопрос с удовольствием.

— Канитель, — хлопнул он по ноге мандолиной, — церемонятся с ним, как с покойником. Его бы сразу надо стереть.

— Ты о ком это? — удивился приезжий.

— Да о Бахе. Есть там такой. Соит и разводит нотации. А не смыслит ничего, паразит.

— Погоди, погоди, — сказал человек. — Ты что-то слишком торопишься.

Он крепко взошел на ступеньки и отбросил клубную дверь.

Свет обнял его высокую фигуру, сделав ее более крупной.

„Кто такой?“ — думал Микешкин.

Человек обернулся к нему:

— Ну а ты что тут дежуришь? Тебе разве не интересно послушать?

— Интересно! — крикнул Микешкин и застучал о ступеньки подошвами. Вкус к жизни возвратился к нему. Мир все-таки построен толково.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Ложкин шел по проходу раскачивающейся легкой походкой. Поверх косоворотки расстегнутая черная куртка. Высокие узкие сапоги обтягивали его длинные ноги. Перед ступеньками на сцену он задержался, будто не решаясь взобраться. Но потом коротким толчком вскочил вверх на подмости. Ему, действительно, было трудно итти. Или слишком легко. Тело утратило вес. И такая же легкость пронизывала окружающее. Могут стены взлететь, как декорации. Пол скользнет и станет наклонным. Головокружение преследовало Ложкина.

После ухода Мальчишкина он долго лежал в забытьи. Потом сел на диване в пропитанной потом рубашке. В голове была странная ясность. Температура, видимо, спала. Он решил, что должен вставать. Одевался, садился, опускал голову на стол. Одевание заняло долгое время.

Особенно трудно давались ему сапоги. Они тяжелы и длинные. Нога никак не могла дойти до подошвы. Но зато, натянув их, он встал с облегчением. Он словно приобрел вместе с ними заново способность ходить.

Он вышел наружу. От дивана, от лампы, от комнаты следовало отойти. Всем этим владела болезнь. Он вдохнул загодедеый, цедеый, никакими запахами не смеяченый воздух. Воздух полон здоровьем. Глухо дрожал отдаленный шум фабрики.

Ложкин вскочил на подмости, поддержанный потоком к нему протянутых взглядов. Он осмотрелся и сел на подвинутое из-за кулис коротенькое плетеное дачное кресло.

Есть много видов собраний. Есть собрания работающие, где совместно образуемая мысль медленно, но согласно обтачивается, передаваемая от оратора к оратору, каждое новое предложение, будто удар резца снимает ненужные напластования и проводит новую важную линию. Неверное, прикосновение к этой, на глазах создаваемой, мыслительной форме не вызывает раздражения, а заставляет всех дружно напрячься. И люди расходятся, с удовлетворением оглядываясь на законченные и обточенные выводы, как на целесообразно сработанный материальный предмет, и чувствуют спокойную мускульную усталость.

Иные собрания происходят как бы во сне. Слушатели сидят неподвижно с онемевшими телами, с ослабевшим сознанием, на самую внешнюю оболочку которого уныло и однообразно надавливает голос оратора. Следы голоса, как следы пальцев на тесте, затягиваются, и нельзя вспомнить, что только что произносилось. Кое-кто тотчас встряхивается, меняет положение, но сонный воздух облепляет его, вокруг тусклый, нерадостный свет, картонные лица соседей, и погружается он в прокуренные вялые сумерки, пропитанные общей головной неотпускающей болью.

Есть собрания, полные скрытых течений. Люди переговариваются, улыбаются или мрачнеют, но каждый прислушивается не столько к явным словам, сколько к разделяющим присутствующих потокам, напряженно циркулирующим в помещении. Происходят невидимые расхождения, образуются согласия и отталкивания, люди узнают единомышленников по беглому взгляду, по пожатию плеч. И в решительный момент трещины обнаруживаются — выкрики, шум, беготня, соседи оказались врагами, трещит звонок председателя, сражение в полном разгаре.

Мальчишкин прежде всего рассердился.

— Ты зачем встал с постели? — успел буркнуть он Ложкину.

Но его прервал Бах. Он оперся руками о стол, выпятив блещущий череп.

— Резолюция принята. Перейдем к текущим делам. Например, к вопросам питания.

Ложкин взял со стола резолюцию и читал ее, откинувшись в кресло.

— Я слова тебе не давал! — закричал на Баха Мальчишкин.

— Но я все-таки предупреждаю — возвращать собрание назад сейчас не может никто.

— Но еще не все высказались! — зашумели дружно в рядах.

— Подавайте особое мнение. Те, кто прогив борьбы за план.

Зад загудел. Споры вспыхнули одновременно всюду.

— На пушку берешь! Голосов не считаешь!

— Что бузить? — надрывался Орлов. — Принято, и все тут. Я хочу насчет продовольствия. Разве с нашей кормежкой можно работать?

— А ты забастуй! — крикнул Мотя.

— И забастую! Правды не любишь.

Его заглушил новый грохот. Кто-то напирал на Орлова. Кто-то схватил его за руку.

— Драться будем? — приподнялся Ложкин, отложив листок с резолюцией. — Хороший случай получится. А из-за чего? — Собрание остановилось. — А из-за чего такой крик? Ты что ж за порядком не смотришь? — повернулся Ложкин к Мальчишкину. — Хочу — я говорю, хочет — Орлов говорит.

— Я тебя прошу замолчать — окончательно взъелся Мальчишкин. — Я сам хотел говорить. А ты выскочил и начинаешь.

Но сердясь, Мальчишкин был рад. Его голос сразу окреп.

— Вот как, — откликнулся Ложкин. — Ну, пожалуйста, говори, ты только меня запиши. — Он опять опустился на кресло. И оттого, что он подчинился окрику, все увидели, порядок, действительно, есть.

Зал совершенно притих.

— Классовое чутье, — тяжело начал Мальчишкин, — есть у нас или нет?

— Я слушал, товарищи, все. Бах хорошо говорит. И это правильно, и то. И насчет скорости, и насчет качества. А почему так выходит? Кто поддерживает большие всех резолюцию? Орлов и его бражка.

— Я еще раз подчеркиваю, всякие попытки руководства сорвать резолюцию, извратить волю собрания... — быстро врезался Бах.

— Я рабочий, а не руководство, — взмахнул рукою Мальчишкин. — Так вот что случилось, товарищи. И мне резолюция правилась, но Орловым правится больше. Орлов кричал — правильно. А теперь кричит — забастую. Значит, дело не так. Что такому Орлову правильно, то нам не подходит. Потому я крикнул неправильно. — И закончил без перехода. — Даю слово товарищу Ложкину. Ложкин встал и приблизился к рампе.

— Я хочу по конкретному поводу. Пускай принята резолюция, ты, Бах, не волнуйся. Я о деле хочу говорить, а не о твоей резолюции. Резолюцию ты с собой увезешь, а фабрика здесь остается.

— Резолюция не моя, а собрания, — хрипло выдохнул Бах.

— Хорошо, хорошо, спорить не будем. Я только дальше смотрю. Какие выводы из нее? На практике, завтра, какие выводы сделать? Там насчет руководства. Говоришь — зашилось. Значит, надо снять меня с места. Но пока заместителя нет, значит, должен я оставаться? Завтра должен работать еще. И я завтра беру резолюцию и читаю насчет технического персонала. Что он тоже ни куда не годится. Даже так выходит, Васнецов нарочно затягивает. Я ему говорю — если к вечеру не дашь

девяносто тонн, я тебя арестую. И выходит, не дал. Я его под арест. Ну, вот и устранили препятствие. Послезавтра, значит, повысилась выработка? Но такое послезавтра — это наше позавчера. Позавчера мы инженера убрали. Думаешь, подеремонились? Посмотрели, что большой стаж? Вместе со стажем отправили поездом. И правильно поступили. Он был чужой человек. Мы пошли на то, чтоб остаться без инженера. И не завалили фабрику. Хотя каждый дрожал, ну, случись, серьезная авария, как ее исправлять? Правда, не подняли выработку, да и не спустили ее. А потом Васнецов приезжает.

Ложкин говорил быстро, иногда широко поводя рукой. Его голос понижался и повышался, разлетаясь без усилия по залу.

— Приезжает и приходит ко мне. Если б он мне сказал: вот что, Ложкин, завтра мы дадим сто процентов, я б подумал про него — жулик. Не сказал бы, конечно, ему, но подумал бы непременно. А в коллективе так и сказал бы, последите, ребята, поостроже. И сам бы ходил за ним следом. Я и так за ним следом ходил, потому что он сам меня всюду таскал. Я ему говорю: „Слушай, Васнецов, я фабрику знаю, ты можешь просто мне рассказать“. А он мне: „Нет, будь добр, на месте понятнее“. И объясняет весь план. Нужно вал послать на ремонт. „Когда же мы усилим выработку?“ — „Да в течение месяца дадим полный ход“. А я думаю; можно скорее. Только как? Если мы снизу поможем. А не поможем, так Васнецов и в три месяца дела не савинет. Вот и ждали мы, когда Бах приехал, что он нам укрепит сменно-встречный. Ты нам его укрепил? — повернулся Ложкин к Баху в упор. — Ты провел беседы с рабочими? Ты биржу нам подтянул? Помог схлопотать нам резервы? А вместо помощи — склока. Васнецова будто с Барановки выгнали. Нет, не выгнали, а отпустить не хотели. Было дело, в газетах прошили разок. А потом все обошлось. Я газеты эти нарочно сюда получил, потом их у меня Садовников выпросил. Или еще слушаю

по конторе пустили. Нам вагон брака вернули. А вагон этот в крушение попал, бумага в грязи извалялась. Нам ее в переработку прислали. Надо, товарищи, знать И мы темпы дадим. Но как? Не тем, что разгоним людей, а тем, что людей соберем. Своих людей, конечно, не всяких.

— Я просил бы вопрос не замазывать. — Бах стукнул по столу кулаком. — И потом я вообще протестую. Так нельзя говорить на открытом собрании. Надо прежде проработать на фракции.

— Ты бы раньше думал! — это бросил Матвей, тем временем взобравшийся на сцену.

— Не мешай говорить!

— Довольно!

Зал грохоча шевелился.

— Да, тише вы, я же не кончил.

Но Бах не слушал Ложкина дальше. Взяв портфель, он вышел со сцены.

2

Он спустился из-за кулис в пустоватую деревянную комнату. Постоял, направился дальше. Шел, слегка переваливаясь, со спокойным деловитым лицом. Удовлетворенно отдуваясь, прошел к двери клуба. С таким осанистым, ответственным обликом по огромным лестницам учреждений сходят назаменимые специалисты. Они оставили здесь два-три золотых совета, внесли драгоценные поправки в проект. Их ждут в другом месте. Телефонные звонки, стерегущие жизнь их повсюду, давно запрашивают о их прибытии. По чисто вымытым лестницам, гулким, как рупора громкоговорителей, так спускаются знатоки, уверенные, что стоит им выйти за дверь, сама собою скользким толчком подкатит к тротуару машина, чтобы нести их в другой, ждущий их действий район.

Баху вспомнились огромные города в разных пунктах земли. Не один определенный город, а объединяющий в себе множество разрозненных улиц, площадей и бульваров, рокошущий и светящийся образ. Реки улиц с их, словно из черного стекла, дном, где полностью отражены фасады мощных домов. Флотилии автомобилей на поверхности этой застывшей воды. Электрический свет, то затвердевший рисунками и надписями, то жидко плывущий по стенам, то парящий, как золотая пыльца, даже в газообразном состоянии неуловимо развевный в воздухе. Непрерывное шествие чистеньких человеческих фигурок, которые сменяются перед стоящим на возвышении Бахом. Проходя мимо Баха, они поворачивают крохотные белые лица. Они, возможно, приветствуют его, хотя сливаются голоса, и слов нельзя различить. Бах зевнул и открыл клубную дверь.

Действительно, на земляном круге перед ступеньками стоял маленький фورد. Очень скромный механический извозчик, дословно повторяющий тот, каким пользовался Бах в Москве. Но здесь в пустоте ничем не ограниченной ночи, перед грубым ящиком клуба, он с рифлеными, похожими на два круглые кристалла, стеклами фарр, крепко и полно сияющими над тупой коробкой мотора, казался выходцем из торжественного города, посланным сюда во-время, чтобы забрать Баха из Ломжи. Бах физически отчетливо представил, как протягивается его рука к металлическому рычажку, и дверца, треснув, отскакивает, как, согнувшись, Бах опускается на теплые жесткие подушки, и новый удар дверцы отделяет его от Ломжи совсем.

— Чья машина? — спросил он шофера.

Развалившись в полулежачей позе, тот осмотрел Баха со сдержанным пренебрежением, которое присуще только шоферам, пока они за рулем и отчетливо чувствуют разницу между человеком, стоящим на земле, и ими самими, хозяевами пространства и скорости.

— Товарища Горнунга, — сказал он небрежно имя главного руководителя района.

— Горнунг здесь? — сказал Бах удивленно, но шофер закурил и не смотрел на него.

Бах поднялся назад по ступенькам. Горнунга следует встретить.

Горнунга Бах видывал на съездах в Москве. Да и раньше помнил его по партийной работе. Швед, но выросший в Петербурге, видный экономист, „доктор Горнунг“, как величала его и сейчас зарубежная пресса. Он работал до революции в крупной фирме в Финляндии. Его квартира была постоянной финскою явкой. Он снабжал оружием боевые дружины, перетаскивал с Запада литературу в Россию. Его имя всегда вспоминалось, когда требовалась точность и смелость. Потом участник гражданской войны, он знал север, как собственную комнату. За ним числились и подполье у белых, и зимние лыжные вылазки в тыл англичанам. В мирное время он стал главным организатором края. Перед Ломжей Бах к нему заезжал в центральный городок района. Горнунг принял Баха в низком каменном доме петровских времен, тяжелым полуциркулем охватившем площадь со сквериком. Там помещались правительственные учреждения, там Горнунг и жил. Бах तोпнул на поезд, и они не прошли в комнату Горнунга, а остались в зале заседаний, в то время пустом. Впрочем, зал примыкал к личному помещению Горнунга, и легко было представить, как Горнунг выходит оттуда через низкую дубовую дверь, чтоб непосредственно показать собравшимся только что возникшие соображения. Будто каждая мысль Горнунга не должна оставаться отдельным его достоянием, но ей необходимо расширяться, занять весь этот зал, а затем увеличивающимися кругами распространиться по области. Но во время их беседы в зале не оставалось никого. Длинный стол, одетый до полу темновишневым мягким сукном, спинки деревянных кресел, угловатой оградой тесно обжавшие

стол, две каменные вазы на мраморных круглых колоннах, стены, на массивность которых указывали глубоко сидящие оконные стекла и глубокие, чуть покатые подоконники, — вся обстановка прислушивалась к привычному для нее голосу Горнунга. И стоячие четырехугольные часы с медным циферблатом и медным, едва шевелящимся диском маятника по-старинному неторопливо постукивали, как бы расставляя знаки препинания между фразами собеседников. Горнунг подходил к огромной карте, облицовавшей чуть не целую стену, и объяснял много раз рассказанную им в разных условиях тему — плановое социалистическое хозяйство в отсталом, но богатейшем районе, превосходящем по размеру Германии. Названия неведомых Баху местечек, рек, озер, мельчайших географических точек словно вспыхивали на карте, когда Горнунг к ним прикасался рукой. И особенно удивляло Баха, что любой лесопильный заводик, любую разработку Горнунг тотчас окружал именами работавших там людей, их историями и сжатыми характеристиками, словно представляя наглядно, что делает каждый из них в данное время и подчеркивая, что без их поступков все расчеты и обозначения не могут иметь реального смысла. Только Ломжу оставил Горнунг как бы не населенной, открывая Баху возможность самостоятельно разыскать ее жителей.

Бах впитывал сообщения Горнунга, тотчас же критически в них разбираясь. Каждую цифру он привычно сокращал, отделяя от нее процент добрых, но не выполнимых намерений. Он улавливал увлеченность Горнунга и мысленно с нею боролся. Какой-нибудь Путиловский завод, один завод имеет больше рабочих, чем вся промышленность этого края. Такую Ломжу со всеми ее проблемами можно положить в жилетный карман.

— Так, так — сказал Бах, улыбаясь, — ну, а что же будет в действительности?

Горнунг не понял вопроса.

— Я хочу сказать, ведь это только ориентировочный план. Какие показатели реально будут к концу пятилетки?

Голубые глаза Горнунга засверкали ярко и чисто.

— Но ведь я же их назвал.

— И вы думаете выполнить все?

— А вы полагаете, у меня две программы? Одна для приезжих, другая для личного пользования. — И, опасаясь, что Бах может обидеться. — Ну, конечно, возможны стихийные бедствия. Или если война, тогда все по-другому.

3

Бах столкнулся с выходящими с собрания, и его оттеснила толпа. Люди говорили все сразу. Бах насилу протиснулся. Во всех своих закоулках клуб наполнился грохотом. „Ничего — думал Бах, — это только начало. Главное будет завтра на фракции. Вопрос перекинется в центр. Перед ним лежит дальний путь“. Но самым существенным, независимо от движения вопроса, казалось Баху сейчас, как он встретится с Горнунгом.

В боковой, знакомой Баху комнате пробегали группы людей. Баха будто не видели. К нему не обращался никто. Его старательно обходили. Это не походило на грозное внимание рабочих на ленинградском заводе. Бах предпочел пережить бы его. Там он был точкой приложения гнева. Вещественной формой, с которой боролись. Сейчас расходившиеся люди словно мгновенно забыли о нем. Бах не пересекался с их интересами, он, казалось, не жил здесь никогда.

Горнунг шел, останавливался, ударял Ложкина по плечу. Мальчишкин двигался с боку и что-то оживленно доказывал. Горнунг качал головой.

— Вал встречайте, — говорил громко Горнунг.

— Какой? из ремонта?

— Из ремонта дело особое. Новый вал немцы прислали. Я получил извещение.

Бах не разобрал ответа Ложкина. Все трое стали кружком. Ложкин вскидывал руки, Мальчишкин топтался на месте.

Рабочие пробегали по комнате. Многие кланялись Горнунгу. Он приветствовал их, легко наклоняя лицо.

— Добрый вечер, — мягко приблизился Бах.

— Я рассказываю, — поздоровался Горнунг, — что на фабрику выслали вал. Это очень укрепит производство.

Бах вгляделся пристально в Горнунга.

— Ну, а слышал ли ты резолюцию? Он почувствовал раздражение. — Да, конечно — согласился вежливо Бах. — Я не знал, что вы здесь, к сожалению.

— А тебе надо в отпуск. Ну, на что ты похож? — обнял Ложкина Горнунг.

— Ты что меня в дипломатический отпуск?

— Брось шутить. Ну, вернешься через два месяца. Мы тебя еще сохраним. Разве только сам сбежишь с Ломжи.

— Ну, до вала я не уеду.

Горнунг придвинулся к Баху. Тем же поясняющим тоном, как при первой их беседе у карты, методично и четко сказал:

— Ложкин — наш лучший работник. Вы, надеюсь, убедились в этом сами.

— Мои выводы... — начал Бах.

— Мы познакоимся с ними. Я вас буду ждать у себя.

— Мои выводы, предупреждаю, вряд ли во всем совпадут... — продолжал Бах монотонно и медленно.

— Хорошо, — прервал его Горнунг.

К их разговору прислушивались. Садовников, вытянув голову, смотрел Горнунгу в рот. Чуть подалее виднелся Зеленский. Глаза его бегали от Баха к Горнунгу. Он даже похудел мгновенно, и обнаружилось, что он не побрит. По впалым щекам расплывались грязноватые серые пятна. Дальше всех находился Микешкин.

— А вот кто писал эту статью? — взмахнул Горнунг перед Бахом газетой.

Зеленский подался назад.

— Член редакции по моему поручению.

Горнунг смотрел сверху вниз. Он значительно выше, чем Бах. Тишина прошла между ними.

— Статья политически вредная.

Бах почувствовал тихое бешенство.

— Я оцениваю статью по-другому.

Но голос его сорвался.

Горнунг уходил от него.

Горнунг направился к двери. Бах шел за ним в нескольких шагах. Задняя стенка машины, две красные сигнальные лампочки быстро убрались из глаз. Фонарь, скрипя, раскачивался над головой. Желтый колпак света двигался по земле. Несколько удаляющихся голосов поворачивали в воздухе какую-то песню. Звуки мандолины рассекали ее по всем направлениям. Гул фабрики, не оттесняемый шумами дня, вкрадчиво доползал, как вода, и омывал ступеньки клуба.

— Товарищ Бах, — сказал кто-то сзади.

Бах увидел Зеленского. Он, крадучись, высунулся из клуба. Казалось, стоял он на цыпочках. Ему хотелось выразить многое.

— Что такое?

— Я спросить... Пускать резолюцию в завтрашний номер?

Бах повернулся к нему.

— Убирайтесь к чорту! — закричал он, срывая свою злобу.

Зеленский отскочил, онемев.

— К чорту с вашей газетой!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

— Вот что, товарищи.

Короленко стоял посреди комнаты. Дело было в редакции после собрания. Несколько человек из фабричной молодежи расселись на столах и скамейках.

По дороге Короленко молчал. Его молчание передавалось остальным. Задумчивость овладела идущими. Только стук каблуков о мостки указывал, что движутся люди. Войдя в редакцию, Короленко зажег лампочку, перебрал листки у себя на столе и решительно вышел вперед.

— Вот что, товарищи, — обратился он громко. И внимательно проверил все лица.

Это были понятные лица. Усталые вследствие позднего часа и потому выглядевшие бледнее и тоньше обычного. Озабоченные и оттого казавшиеся старшими. Но все же именно те, какие привык встречать Короленко во время многих своих разъездов, полные готовности действовать, способные легко перейти от серьезности к шутке, лица людей, чья молодость не мешает ответственности, а ответственность не гнетет, а кажется обычной и легкой. Короленко проникал в эти лица без всяких усилий, так как сам имел такое же лицо. Большинство этих людей происходило из деревень. Большинство одолело первоначальную грамоту, а потом ходило в пастухах или помогало с ранних лет по кре-

стыняетву. Отбрасываемые деревнями, они катились, движимые центробежной силой нужды, в адреса близких и дальних родственников или просто односельчан, а иногда и совсем вслепую к промышленным пунктам Союза. И тогда в результате переездов, розысков, временных устройств каждый оказывался поставленным перед зданием фабрики или завода и прежде, чем успевал приглядеться, его вводили внутрь корпусов. Каждый робел, оглушенный грохотом и суетней. Каждый постепенно приглядывался, боясь отойти от порученного ему места, никак не связывая себя по началу с оглушительным кругооборотом целого. Каждый знакомился с ровесниками и старался им подражать. И постепенно различал протянутую сначала только сквозь свой цех, а потом сквозь все предприятие настойчивую цепь, в какую включены были многие. Эта цепь называлась комсомолом и к ней то и дело приходилось притрагиваться, то в связи с вопросом об учении, то в бригадных делах, то при конфликте с товарищем, то по поводу жилья и в других бытовых и производственных случаях. И от постоянного прикосновения к этой цепи расширялось понимание своего назначения, выяснялись дороги в будущее. Наконец, в один памятный день совершалось включение в цепь, и тогда ощущалось отчетливо, как прочна и непрерывна она, как протянута на другие заводы, и концы ее, опоясав Союз, исчезают за рубежом. Тогда фабрика, уже подробно изученная, воспринималась, как одна из многих собственных фабрик, за судьбу которых нельзя не беспокоиться, чью участь нельзя не облегчать всеми личными силами.

Эти лица были б Короленко знакомы, даже если бы он их видел впервые, потому что на главные жизненные вопросы, он знал, все они ответят одними и теми же мыслями. Усталые после труда, после бегания на футбольной площадке, после пребывания в клубе, но способные снова встряхнуться, выстоять ночь у станков или отправиться на биржу таскать дрова на плечах.

— Может, кто-нибудь думает, что мы нынешний рейд отменили?

Короленко огляделся еще раз. Нет, никто так, пожалуй, не думал. Правда, направляясь в редакцию, мало кто помнил о рейде. Слишком много впечатлений нагрузил на всех этот день. Но все сознавали отлично, на одном из участков работы потребуется применить свою деятельность. Значит, рейд? Хорошо. Значит, в этом направлении работать. И с привычной готовностью легко настраиваться на всякое дело, люди подняли головы, ожидая дальнейших разъяснений.

Это был для Короленко важный момент. Рейд собрал он единолично. Собрание развалило бригаду. Но газета — нужное дело. Не заботясь о последствиях для себя, вокруг редакции Короленко намерен стянуть необходимый актив. У него не было разработанного плана. Он не знал, на что пригодны присутствующие. Но он знал собирательный характер этих людей, как знал себя самого. Он был убежден, что способности явятся, если есть нужда в их наличии.

— Я считаю, нам не к чему обсуждать сейчас наше отношение к собранию. Об этом будут разговоры на бюро. И в вышестоящих организациях, — закончил он вводную фразу. — Но как бы вопрос ни стоял, фабрика не перестанет работать.

— Еще бы, — сказал кто-то с места.

— И газета должна выходить. И особенно с переходом на сменно-встречный... — Короленко запнулся, но махнул рукою решительно, — о котором мы завтра дадим большую разъяснительную статью. — Он окончательно превысил свои полномочия, перейдя на положение временного редактора. — Ты, Мотя, напишешь. Мы сегодня с тобой говорили, — ткнул он пальцем в скамейку.

— Хорошо — отозвался Матвей.

— Ты не опасайся, я тебе помогу, — быстро и другим, не ораторским, а житейским голосом пояснил Коро-

ленко. — Зайдешь утром ко мне. Мы вместе составим. — И опять несколько повысил тон. — Оттого усиливается значение каждого сознательного парня. И женщин, конечно, — прибавил он, спохватившись. — Мы должны прошупать всю фабрику. Чтобы в каждом цеху был раб-коровский пост. — Каждый из собравшихся знал, что такое рабкор. Но представить себя в таком состоянии было возможно не сразу.

— Да неужто из вас никто не рабкорил?

Все оглядывались друг на друга. В одиночку, конечно, не просто, ну, а вместе почему не попробовать?

— Вот Титова раз написала заметку, — басом сказал Королев.

— И в газете ее напечатали, — подхватил с удовольствием Егоров. Он был несколько сконфужен своим выступлением в клубе. Но, услышав, что можно кого-то одобрить, разрешил себе ввязаться в беседу. Титова сидела вся красная.

— Да, ты объясняй, объясняй, — подтолкнул Короленку Матвей.

Отказываться не собирался никто. Предлагают, значит, надо откликнуться. Вопрос в том, как это делается.

Короленко перешел к объяснениям.

— Но мы все-таки вместе пойдем, — запросил его кто-то с места.

— Мы разделимся на две группы, — беспощадно сказал Короленко. — Я пойду с частью на биржу. Остальных ты, Мотя, веди.

— Хорошо, — согласился Матвей.

В комнате начались препирательства. Кто куда, с кем, как идти? Выходить как можно скорее. Прежняя сонливость исчезла. И, казалось, опоздай они выйти, в производстве что-то нарушится.

Когда разделились на партии, в двери неожиданно просунулся Ларкин. Он опоздал на собрание, завопившись во своим дефибром. Он направлялся домой, но

его мучило столкновение с Панаевым. „Разумеется, Панаев не прав, — размышлял он, идя в темноте. Ларкин качал головой и никак не мог успокоиться. — Под горячую руку он решил перебраться в другую смену, чтобы не общаться с Панаевым. Но сейчас он это отбросил. — Если мы из-за каждой ссоры будем перестраивать смены... Ну, конечно, Панаев не прав, — но Ларкину не делалось легче. Ларкин думал со страшным усилием. — Действительно, не прав Панаев, но если будем мы ссориться... И не то, что я и Панаев, но и каждый из нас внутри смены“. Ларкин ощущал тут неправильность, как ощущал он излишнее трение в машине. Как выйти из такого осложнения? Ларкин брел недовольный. Увидев окно редакции, во весь рост залитое светом, Ларкин решил заглянуть. Его тотчас дружно окликнули. — А, ребята, — сказал он, отмахиваясь, не разделяя их оживления.

— Ларкин, с нами, на рейд!

Ларкин покачал головой.

— Да ты будешь рабкором, понимаешь?

Ему стали наперебой объяснять то, что сами узнали сейчас.

Неизвестно, подался бы Ларкин, но Короленко решительно крикнул:

— Кто на биржу со мною?

Слово „биржа“ подняло Ларкина. Биржа прямо примыкала к его дефиблерам.

— Я на биржу, — заявил он поспешно.

Потушив электричество, вышли. Сразу сжала со всех сторон тьма. Но теперь спускавшиеся по ступенькам были молчаливыми и задумчивыми. Предприятие радовало таинственностью. Казалось, превратившись в рабкоров, люди все увидят по новому.

— Ну, давайте в разные стороны, — тихо сказал Короленко.

— Ай-да, не завалите! — напутствовал кто-то из мрака.

— Не бойся, — ответил Матвей, направляясь со своими к каналу.

И казалось тем и другим, что их ожидают опасности. Что-то военное, настороженное вошло в ощущения каждого. Короленко шагал впереди.

— Ты откуда? — спросил он подъехавшую сбоку фигуру.

— Ты куда без меня? — отозвался вопросом Микешкин. — Ты куда смотался из клуба?

— Тише ты, видишь, рейд.

— А, рабкория. — Он схватил Короленко за локоть.

Он расстался, наконец, с мандолиной. Голова его пухла от новостей. Он разыскивал Короленко повсюду. Уйдя раньше с собрания, Короленко не знал о прибытии Горнунга.

— Политически вредная, — повторял Микешкин раздельно. — Это он про статью. Понимаешь?

— Врешь? — спросил Короленко с замиранием сердца.

— Да, поди ты к чертям... Сам я слышал. Я тебе ведь сразу сказал, не хочу статью набирать.

— Не шуми.

— Нет, теперь подождешь. Для таких статей приглашай другого наборщика.

Замолчали. Короленко нажал карманный фонарик. Слабый пучок света кружком лег на землю. Вырезанная им часть земли выглядела ненастоящей. Какой-то блеклой чешуей. Лиловатые камни и щепки. Все затихли. Будто фонарик был сигналом к молчанию. Будто издали кто-то навстречу тоже пошлет пучок света. И лишь этими тихими вспышками позволено сообщаться в ночи.

— А вот шли мы раз в рейд... На Днепрострое. — уютно стал вспоминать Короленко. — Не отступись, ребята... Раз на Днепрострое...

Все прислушивались, смотря под ноги. Начинался спуск к бирже.

Увидев перед собой Васнецова, Кусков соскочил с мостков, чтоб подошвы не стучали о дерево. Мостки загибались, образуя глубокую петлю. Кусков побежал напрямик по какой-то неровной канаве. Он обогнал Васнецова и теперь был впереди. Высовываясь из канавы, он наблюдал человека, медленно направляющегося в сторону фабрики. В сумраке не разобрать ни лица, ни движений. Темный столбик, вертикально поставленный сверток. Кусков, сохраняя расстояние, отбегал на несколько шагов и потом останавливался, вглядываясь. Однажды ему показалось, что предмет, отслеживаемый им, скрылся из поля зрения. Со страшным волнением и с глухой подспудной надеждой, что действительно исчез Васнецов, Кусков вытянул шею и вслушивался. Он весь перешел в чувство слуха, словно вылав его как можно дальше вперед. Тук-тук-тук — будто молоток легко ударил о доски. И опять пришли на помощь глаза, выделив из общей расплывчатости более плотную, раскачивающуюся и удлиненную форму.

Кусков забыл, зачем он ведет наблюдение, какова его конечная цель. Но самый процесс контроля над ничем не защищенным человеком захватил Кускова вполне. Наконец-то это настало. Будто все последнее время он только и готовился к этому. К тому, чтоб нырять в темноте, не выпуская другого из вида. Властная безличная воля целиком наполняла Кускова. Непринадлежащая ему самому, не позволявшая принимать самостоятельных решений. Вверяя себя этой воле, Кусков чувствовал радость. Одаренный ею, могучий, Кусков двигался с животной легкостью. Он владел сейчас этой ночью и всем, что в ней содержалось. И особенно владел Васнецовым, отданным в его распоряжение. „Все могу, — грохотала в Кускове безличная полноценная

воля. — Иди, иди, ничего, — поощряла она Васнецова, — не оглядывайся, не бойся, тебе еще можно ходить“.

На бирже, где было светлее, следить пришлось осторожнее. Свет как бы защищал Васнецова, отбирал у Кускова безраздельность господства над ним. До сих пор путь Васнецова определяли мостки. Раскинутое расположение биржи перепутывало направление. Васнецов мог ускользнуть. Крадучись между бревнами, Кусков не спускал с него глаз. Но Васнецов облегчил наблюдение. Он и здесь выбрал путь наиболее простой и понятный. Путь, подсказанный всем направлением местности. Наиболее обработанный путь здесь был рельсами узкоколейки.

Поняв, что Васнецов не свернет, Кусков и тут устремился вперед. Он быстро прыгал по шпалам, стараясь выгадать время. Теперь следовало решаться.

Мало наслаждаться могуществом, необходимо его проявить. Кусков бежал по незнакомой дороге, не зная, где задержаться. Ему казалось, — Васнецов догоняет его и он сам превратился в преследуемого. Шпалы путались под ногами. Темные горки кустарников нарастали и приседали с боков.

Вдруг, выбежав за поворот, он увидел освещенное здание. Будто вытянутый плоский фонарь, прислоненный к темному скату. Свет, стоящий колоннами в стенах, достигал до места, где остановился Кусков. Желтоватые обломки его лежали под ногами на насыпи. Здание остановило Кускова. Дальше идти бесполезно. Свернув в бок, он провалился в кусты и застрял ниже уровня насыпи.

За его спиной было озеро — сероватая тихая сырость. Чуть светлеющая пелена, отделяющаяся от темного берега. Ветер мягкий и более теплый, чем на поле, испарялся от поверхности озера. Иногда что-то чмокало у берега, будто вода шевелила губами. И сошущие влажные звуки рождались, чтоб снова исчезнуть.

Здесь была последняя станция, Кусков это ясно почувствовал. Вершина, до которой он добрался. Острый угол, где сходились линии всех его дней.

— Ну, же, ну, — подтолкнул он себя и полез в карман за револьвером. Револьвер потеплел, согретый телом Кускова.

Кусков совсем не думал о Нине, о всей цепи событий, последним звеном которой было его ожидание здесь. Это превосходило Нину, было выше, странней всех возможных объяснений и поводов. Он не чувствовал ни малейшей злобы к Васнецову. Все причины отвалились, как леса от выстроенного дома. Предстоящее действие высылось изолированным, обнаженным от всяких подпорок, опиралось само на себя. Словно даже не Кусков его вызвал, а оно притянуло Кускова, не запрашивая о его согласии. Оно не окрашивало себя в справедливость, не притворялось закономерным. Оно просто намерено произошло, и Кусков попал в исполнители. Он стоял, как во сне. Вдруг руки его задрожали. Ему послышались шаги. Сердце отрывисто било. Но шаги не подтвердились в действительности.

Кусков опустил руки. Он стоял, как приговоренный. Вода чмокала губами спросонок и потягивалась, и ошупывала берег. И опять успокаивалась. Неожиданно осыпался песок. Неизвестно почему сыпались струйки песка. И каждая песчинка шелестела отдельно. И еще поворачивались листья, когда воздух трогался с места. Поворачивались все разом и потрескивали на ветвях.

И уже становилось непонятно, кто собственно кого поджидает. Люди двигались в замкнутом круге. Кто здесь кого догонял? Оба с разных сторон образовывали этот странный поступок. Оба приближались к нему с противоположных концов. И стало вдруг беспокойно. Кусков не сводил глаз с пересекающего наискось насыпь светового пятна, неизвестно как донесенного до этого места, выпавшего, вероятно, из самого верхнего окна здания. Пятно разграфили два рельса. Сдвинутые, вдавленные

в почву шпалы, будто из разохшейся глины. Несколько бесцветных травинок торчали между ними, как проволоки. Это было районом действия, оборудованной для него ареной. Точка земли. Кусков не сводил с нее глаз. Его тело содрогалось от тоски. От прежнего переживания свободы не осталось сейчас ничего, наоборот, полнейшая скованность, чувство мертвящей зависимости. Световое пятно тихо сдвинулось. Или, может, вся земля покачнулась. Одной рукой Кусков схватился за кусты. Медленно поднял другую. Васнецов стоял перед ним.

Он стоял на освещенном пространстве. Не бесформенный сверток, не кусок необделанного дерева, совсем не то, что двигалось в поле, но живой человеческий образ. Его лицо обернулось в сторону Кускова. Кусков поддался назад, глубоко спрятав дыхание. Вот сейчас стукнет удар, человек споткнется о шпалы. Он опустится на колени, потом положит на землю лицо. И со стремительной ясностью Кусков понял, что пуля вернется к нему, что он сам кладет на землю лицо, что себя уничтожает он выстрелом. Что все равно, кто из них упадет, в любом случае — это гибель Кускова. Что не он управляет судьбою другого, а только осуждает себя. Он поднял руку с револьвером и прижал ее к своей голове. Твердый холодок металла, как печать, придавил его кожу. „Не хочу“ — гремела в нем мысль. Он взглянул на световую площадку. Человек оставил ее. На рельсы никто не упал. Травинки торчали, как проволоки. Холодок металла проник в мозг. Кусков отвел руку и швырнул револьвер назад. Глухо булькнуло, взраздроб шлепнулись брызги.

Кусков опустился на землю. Вода сонно набухала и лопалась. Где-то тонко свистел паровозик. Вдали работали пильщики. По воде скользило позвякивание пил: прикасаясь к поверхности бревен, пилы пели длинными гибкими звуками. Затем погружались они в древесину и звон сменялся шуршащими вздохами. А иногда — короткие взвизги, если зубья наедут на сук.

Гидростанция помещалась у склона над озером. Она выглядела одинокой крепостью, выдвинутой в безлюдную глушь. Васнецов отодвинул массивную дверь. Он оказался на каменном, из гладких светлых плит дне в высоту уходящего белого зала. Бетонные квадратные колонны поддерживали балкон с распределительными щитами. Гул и свет были сущностью зала, двумя одновременными проявлениями какой-то единой энергии. В центре этой энергии — веретенообразный корпус турбины. Крепко вклепанная в пол, она задышалась от напора воды в смертельной сдавленности и безвыходности, образующей новый вид силы. Ветер горячими пластами шел из отверстий кожуха.

В зале было пустынно. Один рабочий, сидевший у самой турбины, смотрел в белые круглые лица регистрирующих приборов. Он кивнул Васнецову, не прерывая занятия.

Васнецов прошелся по залу, не слыша собственных шагов. Тот рабочий, там, у турбины, вряд ли знал о собрании. Да если б и знал, это вряд ли изменило б его отношение к Васнецову. Тем более, что Васнецов не ведал непосредственно станцией. Васнецов набрал на лестницу, поднимающуюся на балкон. Сел на ступеньки за колонной под огромным куполом гула. Прислонился к металлическим перилам. Мысли его стали путаться. Он почувствовал, что очень устал. И заснул совсем незаметно.

Он проснулся так же внезапно. Вскочил, растирая руками лицо. Что за вздор! Сколько времени? Долго ли с ним продолжалось? Ему казалось, — все вокруг изменилось. Нет, все сохранилось попрежнему. Гул, свет, стены — все было в обычных пропорциях. Почему же он смотрит по-новому? Виной тут вмешательство сна

Впрочем, что ему собственно снилось? Может, просто он отдохнул. Или снился чей-то приезд. Кто-то долгожданный приехал. И сказал: „нет, нет“. Сон лопался, как паутина при попытках прикоснуться к нему. Но откуда же ощущение бодрости?

— Да, да, — сказал Васнецов и быстро пересек зал. Ему захотелось подойти к рабочему и чем-то обрадовать его. Но Васнецов сообразил, что только помешает, пожалуй. Какой хороший человек, как он внимательно смотрит на тихие стрелки приборов. Не спит, не отворачивается, хотя никто за ним не следит. Заведующий производством света. Я не должен его отвлекать. Васнецов обогнул помещение и осторожно вышел наружу.

„Жив, — думал Васнецов, — я жив. Я иду по земле. — Хотя ничто до сих пор не представлялось ему посягающим на его существование. — О чем это я рассуждал? О том, что трудно за всем уследить одному. Но кто же сказал, — одному? Вот, следит же этот рабочий. Моя ошибка и здесь, и в Барановке, что я за все хватался сам. Будто боялся доверить другим. В этом даже бригада права. Я был слишком самонадеян. Но мы будем смотреть сообща. Даже если в данном Ломжинском „мы“ меня лично не останется завтра“.

Паровичок позвал Васнецова коротким тонким гудком.

Примятый и закопченный, напоминающий железную печку, сотрясающийся по отдельности каждой частью, — паровой котел, готовый съехать с тележки, воронка трубы, коробка, в которой, скрючившись, сидел машинист, — паровичок маневрировал на рельсах. С ним не случилось беды, но платформа, в которую он был запряжен, опрокинулась, сбросив бревна вниз под откос. Рейд, наткнувшись на катастрофу, водворил платформу на

место. Теперь шла погрузка вручную. Рабкоры стояли цепью.

— Васнецов, откуда явился? — встретили его голоса.

— К нам становитесь! сюда! — выделялся голос Титовой.

Васнецов побежал к машинисту и схватился за поручни.

— Что за чорт! — начал он.

Машинист, горбясь, высунул в боковое окошечко голову.

— Да, вот шпалы разъехались. Нет сигнальных огней. Темнота.

— Безобразие, — говорил Васнецов.

— Сами б сукины дети поездили! — в ответ заорал машинист.

Они кричали друг другу в лицо, ругая неизвестно кого, профорганизацию, контору, не существующее в действительности начальство. Их ругательства были беззлобны, но громки. Васнецов знал этот вид раздражения, неминуемый при горячей работе. Вдруг оба разом замолкли, добродушно друг друга оглядывая.

— Ты у нас инженер? — спросил машинист. — Ты бы там в конторе сказал.

— А ты сам что не скажешь?

— Тыщу раз говорил, хоть подсыпьте насыпь немножко.

— Ну, уж, верно, не тыщу.

— Ну, конечно, — пошел машинист на уступки. — Да ведь времени нету в конторе трепаться.

— Завтра Ложику, расскажу. — Васнецов прыгнул с подножки. И тут, сморщившись, понял, что все-таки тяжесть осталась. Простая, житейская тяжесть, неразделимый остаток тоски. Это было связано с Ложиным, с тем, что он не помог. Это казалось давнишним, далеко отодвинутым в прошлое. Но даже из дальнего прошлого угнетало своей непонятностью.

Васнецов тоже стал в цепь. Бревна шли одно за другим. С трудом отрываясь от земли, они постепенно

заражались движением. И, казалось, сами грузно плывут, тупо спотыкаясь о воздух. Их надо только поддерживать, чтоб они не сбились с пути.

Как во всякой подобной работе, здесь терялось чувство отдельности. Поток общих человеческих сил протекал от горки бревен к платформе. Единая тяга энергии, состоящая из ряда усилий, никому не принадлежащая в отдельности и превосходящая своей напряженностью все усилия, взятые порознь. Горка бревен распадалась и низилась. Начинало ломить поясницу.

Васнецов глянул вдоль цепи и на противоположном конце различил незнакомого человека. Вытянутая фигура его напряженно наклонялась и распрямлялась. Он несколько отставал от общего темпа, но его внимательно поджидали. Вероятно, из за серьезности, с какой он, молча, хватался за бревна. Он поддерживал их осторожно, словно бревна были стеклянные.

„Кто это?“ — подумал Васнецов.

— Ларкин, кто там работает?

— Там? — покосился Ларкин. — Да, вот подошел, попросил. Сказал, что хочет помочь.

Но Васнецов уже вспомнил кто это.

5

Направляясь со всеми на фабрику, Васнецов оглядывался на Кускова. Но тем прочно завладела Титова. Микешкин успел ей внушить, что Кусков настоящий писатель. Титова разволновалась. Оживленно тараторила, объясняя условия работы в Ломже. Кусков, пригнув голову, вслушивался. Когда обзывали Титову, она сердито оглядывалась. Также с досадой смотрела, если кто-нибудь к ним приближался. Она оберегала Кускова, словно тот был ее собственностью.

Васнецов замечал, что тот вглядывается на него временами. В лице Кускова было внимание и рассказам

Титовой. Он переспрашивал ее и, подчас, простейшие вещи. И в то же время рассеянность, присутствие длающейся мысли. „Да он это или не он“, — соображал Васнецов.

Ночью фабрика так же гремела всем составом трений и рокотов. Так же сразу станет тепло за пружинистой, на блоке, дверью. Только знал Васнецов, — сейчас пустынной просторы цехов. Нет случайных посетителей, одни представители смен. И свет резкий и чистый. И рельефней очертанья машин и отчетливей тени.

И еще самостоятельней, чем днем, шевелятся валы, независимые от людей, насыщенные собственной мощью.

Чем ближе к фабрике, тем трудней Васнецову. Войти туда как экскурсанту, с интересом оценить оборудование. Если его уберут, он получит иную работу. Но данное помещение с данным распределением движений и шумов! Васнецов успел привязаться, с этим ничего не поделаешь.

— Вот какая беда, — сказал он рядом идущему Ларкину.

Ларкин поднял озабоченное лицо. Он не понял, что беспокоит Васнецова. Но он сам был озабочен и вспомнил свое огорчение:

— Да, нехорошо. Этак совсем не годится.

— Вот, вот, — повторил Васнецов. — А насчет прибора посмотрим. Не во-время он им понадобился. Ты потолкуй прямо с директором.

— Верно. Очень хороший фонарь.

Войдя внутрь, все остановились, оглядывая друг друга при свете. Улыбались, словно обрадованные, что все в сборе и в целости. Кусков отделился от Титовой, которая совсем осмелев, уже тащила его за рукав. С тем же двойственным и рассеянным, и внимательным выражением он все-таки подошел к Васнецову.

— Сейчас, сейчас — обернулся он к Титовой, заметив, что та огорчилась.

— Разрешите мне посмотреть вашу фабрику, — сказал он, осторожно подбирая слова.

— Пожалуйста, — Васнецов посмотрел вопросительно. — Хотя вы выбрали позднее время.

— Я был занят, — серьезно ответил Кусков. — Вот мои документы. Я послан издательством.

Он достал из кармана бумажник.

— Да, нет, нет, ничего. Да что вы? — сказал Васнецов. — Вы думаете о нас написать?

— Да, я думаю. Я во всяком случае попытаюсь.

Кусков сказал очень уверенно и сам услышал свои слова с удивлением. Да, он, действительно, хочет. Настойчивые образы со всех сторон подступили к нему. Биржа, ночь, твердые шарики лампочек. И влажные стволы бревен, проходящие по рукам. Принять от стоящего рядом и следующему передать. Кусков представил всю сцену не только так, как она совершалась. Но как можно видеть в искусстве — обобщенной и одухотворенной. Пронизанную трепетанием ритма, выясняющим ее смысл. Представив, изумленно расслышал, что воображение его пробуждено, что независимо от своих способностей, он мыслит и смотрит, как настоящий художник. И такое настоящее зрение не может не вызвать необходимых и единственных слов, как бы труден не был их розыск. Давно не испытанное волнение холодком прошло по его коже.

— Я что-нибудь напишу. Хоть один рассказ небольшой.

— Разумеется, — поддержал Васнецов. Они смотрели друг на друга с доверием.

— Послушайте, научите меня, — раздался голос Титовой.

Кусков не удивился, что его здесь считают богатым.

— Как, вы тоже работаете?

— Нет, я только б хотела.

— Вот сюда поступают бревна, — уверенно объяснял Васнецов, обрадованный возможностью еще раз проверить фабрику.

— Дальше я сама покажу.

Васнецов улыбнулся Кускову и, кивнув ему головой, передал его попечению девушки.

6

И так же, как днем, было внутри бумажного зала Разве только особую серьезность вкладывала в настроение работающих расположившаяся за стенами ночь. И меньше хотелось беседовать, и большая неподвижность.

Ярче блеск сочленений машины.

Особенно светилась сетка. Жидкость массы на ней выглядела золо тистой. То сгущавшимся, то редевшим сиянием накрыта сетка во всю длину.

Машина работала ровно на хорошем и долгом дыхании. Как будто ничего не случилось, к Васнецову приблизился Сиверс. Он теперь был без шляпы, в сатиновой синей рубашке. Подтяжки перехватывали плечи, выделяя его худобу. Он двигался с неизменным достоинством, не ускоряя шагов. Поклонился опять Васнецову, хотя выдались они много раз.

Васнецов оценил его вежливость, особенно в данных условиях. Сиверс подошел и молчал. Его глаза полны синего ровного блеска.

— Ну, Сиверс?—спросил Васнецов, не решаясь начинать разговор.

Сиверс вдруг улыбнулся, не в силах сохранять свою чопорность.

— К утру догоним Панаева, — заявил он и подмигнул.

— Ты о чем это, Сиверс?

— А вот.

Оба оглянулись на счетчик.

Стрелка твердо стояла на 230.

— Постепенно. От часа к часу скорее. — При каждом слове Сиверс кивал головой. — Панаев сюда приходил. Мы вместе тут обсудили.

- Ну, что он?
- Сердился, ругался. Говорит, напел на собрании. Стыдно с Васнецовым встречаться.
- Панаев — хороший мастер, — сосредоточенно присоединился Ларкин. Сиверс снова кивнул головой.
- Его потом Ложкин покрыв за то, что ударился в панику.
- Разве Ложкин был на собрании? — тихо спросил Васнецов.
- Да вы верно рано ушли.
- Сиверс начал рассказывать.
-

Васнецов спускался по лестнице. Казалось, ступеньки горели под ним. Внизу его встретил Кусков.

- Ну что, хорошо осмотрели?
- Спасибо. Только сразу трудно понять.
- Да вы с утра приходите. Это — отличная фабрика. Мы сделаем ее образцовой.
- Кусков покачал головой:

- Я завтра утром уеду.
- Васнецов замолчал удивленно. Неужели они так и расстанутся?

- Я приеду сюда еще раз, — осторожно начал Кусков. — Если вы ничего не имеете против.

Васнецов схватил его за руку.

- Ну, а к нам разве вы не зайдете?
- Я в другой раз буду у вас.
- Непременно зайдете? Правда?
- Да, конечно, — ответил Кусков.
- И отлично. Я здесь остаюсь. Я отсюда не скоро уеду.

- До свидания, — сказал Кусков. — Очень рад познакомиться с вами.

Васнецов направился к двери, но Кусков окликнул его:

— Передайте Нине привет. — Будто снял он маску с лица. — Пусть она не думает плохо. Я измял тот портрет и очень в этом раскаиваюсь.

— Какой портрет? — спросил Васнецов.

Но Кусков вошел опять в цех.

„Он гораздо лучше меня“ — думал Васнецов, выходя.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

Нина шла из клуба, задумавшись. Дело приняло оборот достаточно благоприятный для мужа. Она взвесила это соображение и отложила его в сторону. Оно, конечно, радовало ее и вносило известное успокоение. Но не могло влиять на ее основные поступки. Перед ней возникало лицо Васнецова, когда для всех неожиданно он появился на сцене. И отрывистые фразы его речи снова Нине приходили на ум. Но главное то, что потом он исчез. Ушел неизвестно куда, не пытаясь с ней повидаться. Не стремился ее отыскать.

Нина переждала толпу. Васнецова не было к клубе. Она возвращалась по мосткам, чуть сгорбившись и в то же время закинув назад голову. Своей обычной легкой походкой. Легкой и радостной. Нину назвали по имени. За нею двигался Шукин. Он пошел рядом с мостками, все-таки оставаясь выше ее. Нине не хотелось ни с кем разговаривать. Но Шукин не мог помешать. Он громко сосал, как ребенок, маленькую гнутую трубку. Его молчание не было тягостным. Скорее хранилось в нем, как всегда, одобрение. Нина подумала, — что ни скажи она, на какой ни решишь поступок, содержание шукинского молчания останется тем же.

— Я несколько сделал рисунков, — вдруг объявил он. — У Баха лицо апостола, чувственного, лысого апостола, слушающего проповедь, но себе на уме.

„Куда же мне лучше уехать? — спокойно подумала Нина. — В Ленинград или в Москву? Пожалуй лучше в Москву“. Там сестра, там ей легче устроиться. Она любила оба эти города. Ей припомнилось однажды определение, найденное для этой любви. Ленинград я люблю, как Пушкина, Москву люблю, как Толстого.

Но ничего нет значительней Ломжи, будущего, великолепного города. Нет, теперешней Ломжи, по которой ступает она. Тысячелетия люди любят друг друга. В стихах старых греческих поэтов говорится о том, как вырезаются любящими имена на древесной коре. „Значит, и тогда были испорченные деревья, — быстро подумала Нина. — И совершенно такая же тоска. Она принадлежала другим, но была точно такой же. Ни мало не обветшав за века, не утратив прежней раскраски, из такого же материала тоска вверена ей на хранение“.

— Будто вставлена палка в муравейник, — продолжал Шукин свое. Это он говорил о том, что происходит в Союзе. Он рассказывал, что был в Мурманске, в Средней Азии, в Восточной Сибири. И везде то же кипение. Он рассказывал очень кратко. Перечислял названия мест. Словно всю отпущенную на его долю способность повествования он вложил в свое ремесло. И для слов ничего не осталось. — Новосибирск, Самарканд, — произносил он отрывисто.

„Зачем это он вспоминает? — пришло в голову Нине. — Вероятно для того, чтобы я представила себе, что везде много горя и радости, много людей и поступков. И чтоб я не наделала свои чувства особенной ценностью. Оң прав, я и не думаю, что от моих состояний нечто изменится в мире. Даже в Шуре ничего не меняется. Потому-то я и уеду“.

Шукин хотел попрощаться, но Нина его задержала. Они вошли в пустую квартиру. Нина зажгла электричество.

Так и есть, Васнецова нет дома. Нина пошла из столовой в соседнюю комнату.

— Шура, — позвала она очень тихо. Собственно шопотом сказала она, зная, что никто не откликнется.

Сосредоточенно достала она чемоданы, попробовала их на вес, выбирая себе по руке. „Написать или не написать?“ Нет, она напишет из города. Она неслаishly возилась, отпирала комод, наморщив свое маленькое лицо. Ее руки ловко отделяли белье и ловко насаивали одну вещь на другую, размещая их на дне чемодана. Она коснулась туалетных флаконов, и тяжелые продолговатые столбики, то приплюснутые, то пузырчатые застучали друг о друга стеклом. Она выбрала несколько книг и, накрыв все шерстистым полотенцем с яично желтой каймой, защелкнула чемоданные скобки. Ей даже доставило удовольствие, что запоры сошлись без нажима. Подсчитала в сумочке деньги и, подумав, решила, что хватит. Затем она осмотрелась кругом и глянула механически в зеркало. Она почти забыла, что в столовой находится Шукин. Хотя совершенно естественно, что он сидит, ждет и молчит. Однако, посмотрев на него, она увидела в нем что-то особенное. Он сидел очень угрюмый, насупленный, отяжелевший.

— Что с вами? — спросила Нина, опуская на пол чемодан.

— Ничего.

Шукин отвел виновато глаза от стола.

Нина посмотрела на стол. Там комок измятой бумаги. Она узнала свой портрет, переломленный поперек, изборожденный рваными складками. Она вскрикнула и подхватила его, пытаясь разгладить бумагу.

— Я нашел его там в углу, — промывчал медленно Шукин.

— Это вы его бросили в угол?

Шукин повернул к ней свое тяжелое, неподвижно построенное лицо.

— Да как вы могли подумать? Это не я и не Шура

Она поняла, что Шукин огорчен. Ей стало жаль его, как было жаль себя. Его небольшое огорчение сопри-

коснулось с ее собственным горем. Оно, будто ключ, открыло замкнутую в ней тоску. Огромное всепобеждающее сочувствие вдруг затопило ее. Оно имело вид сочувствия к Щукину, но относилось и к собственной участи.

— Голубчик! — вскрикнула она, схватив Щукина за руку. — В этом никто не виноват. Ни я, ни Шура. Никто.

Она присела на диван и, наконец, вволю расплакалась. Щукин шагнул к ней, но по дороге остановился. Он так и остался стоять в неудобной промежуточной позе, несколько нагнувшись вперед и держась рукою за стол.

Нина кончила плакать и вытерла лицо платком. Будто выполнив последнее дело, предназначенное для нее в этой комнате, она встала и улыбнулась.

— А теперь — сказала она, — мы пойдем с вами на станцию. Мне надо поехать в Москву по неотложному делу.

Они молча прошли всю дорогу и простились у станции. Когда Щукин добрался до фабрики, Васнецов шел навстречу ему.

2

Ночью Баха мучила астма. В промежутках между удушьями Бах писал заявление. Он заперся в своем маленьком номере, расстегнул воротничок так, что концы его шелкового, но скрутившегося и запачканного галстука порознь свисали на грудь. Все же ему было жарко. Спрессованный, не способный к движению воздух. Состоявший из кислотоватого запаха никотина, из сухого запаха накопившихся неопрятной горкой окурков, из слабого, но острого запаха масляной краски, наконец, пахнувши пылью и постельным бельем, — этот трудно проглатываемый воздух бесвкусной пленкой заклеивал

рот. Бах вставал несколько раз и прохаживался от стола к покрытой неправильно стекшими белилами двери. Приходилось все время поворачиваться, комната слишком тесна. От этих унылых поворотов усиливалась головная боль. Так некогда разгуливалось в тюрьме, в одиночке, но тогда Бах был молод, жизнь росла и вспучивалась, как волна, неизвестно почему упруго растущая вверх. И даже тюрьма представлялась восхождением, а не провалом.

Бах возвращался к столу и оценивал мысленно фразы.

Он, пожалуй, слишком торопится. Так ли много значат несогласия с Ложкиным? Важнее расхождение с Горнунгом, но и это не последний удар. Его деятельность дойдет до Москвы. Да и там возможно сохранить облик не слишком задачливого, но и не особенно запутавшегося следователя. Но разве это нужно ему? Ему важен был результат яркий, громкий и быстрый.

Но главное не в Ложкине, Горнунге, третьем, пятом, десятом, дело в том, что и на данном участке Бах не нашел согласия с партией. Он достаточно сообразителен, чтоб не ждать от других объяснений. Партия идет по иному пути, вот что Баху представлялось отчетливо.

Бах сидел совершенно один в дурно пахнувшем номере. За его лицом никто не следил, еще менее кто-нибудь мог бы сейчас подглядеть его мысли. Бах мог позволить себе редкую роскошь — оставаться совершенно правдивым. В чьих интересах действовал Бах? Главным образом, в своих собственных. Кто его поддерживал? Садониковы и Орловы. Еще Зеленский в активе, но того он и сам упразднил.

Значит, надо писать заявление с изложением собственных промахов. Бах тщательно согласовывал фразы.

Заглянув поверх шторы, он заметил, что стекло по-синело. Темнота расступалась и еще ничем не замесная становилась блеклой и сизой. Бах заторопился.

Золотая ножка вечного пера петлично пошла по листу. Приговор самому себе построчно нарастал перед ним.

Ему доставил некоторое удовлетворение сжатый стиль изложения. Он еще сократил заявление, убрав несколько вводных слов. Не всякий способен так управлять выверенным распределением мыслей. Хотя он предпочел бы распоряжаться людьми, а не мертвыми буквами.

И еще предпочел бы приподнести он другому столь расчлененное обвинение с пунктами, нацеленными, как дула винтовок. Бах все же оставался собой. Последнее увертливое соображение подсказывало ему, что именно преждевременность заявления может сослужить ему пользу.

Вполне безнадежные, в сущности неинтересные пути, к незанимательным, в сущности, для Баха целям продолжал без воодушевления вырабатывать механизм его мыслей.

За окном поспешно светлело. Бах отдернул шторы и погасил электричество. Темнота распалась на части, пристав к толевым крышам бараков. Хотя все еще не проснулось, но предметы вбирали из посветлевшего воздуха им присущие краски. Пригорок стал желтоватым, доски подмостков белели, валун, сползший к дороге, хранил во впадинах синие отливы. Это было подготовлением к дню.

Бах смотрел на пустую дорогу, соображая, что сегодня уедет. Якобы для свидания с Горнунгом. Но не вернется сюда никогда.

На дороге показались две фигуры. Бах узнал Васнецова. Он шел с женщиной и что-то рассказывал. Его голос долетал сквозь стекло.

Бах отодвинулся от окна, чтоб его не заметили.

Отчего он не спит? — подумалось Баху. Но ему было лень доискиваться ответа.

Васнецов застал Нину на станции. Он вбежал в тусклую выхолодившуюся за ночь комнату. Чемодан стоял рядом с Ниной. Нина смотрела в окно.

— Ниночка — сказал Васнецов. — Как же это?

И остановился. Поднял руки к лицу. Что-то дрогнуло в нем.

— Нина знаешь, я забыл о тебе. Я, действительно, совершенно забыл. Это со мною бывает. За весь вечер ни разу не вспомнил.

Он говорил с удивлением. Нина вглядывалась в него.

— Ниночка, ну, подожди. — Он сел рядом с ней. — Знаешь, ты подожди, что же это такое? Ты быть может отложишь отъезд. Я должен столько тебе рассказать.

И ему стало ясно, что, несмотря на полную отделенность свою от нее за эти часы, он не может представить себе, что он ей не расскажет и об этой отделенности, и обо всем ей сопутствовавшем. И даже во время оторванности все же он обращался бессознательно к Нине, как бы чувствовал ее постоянным свидетелем. Да и самое состояние сосредоточенности осуществилось лишь потому, что он знал его временность, возможность выйти из него, как из запертой комнаты, для встречи с другим человеком.

— Я же должен тебе рассказать, а потом ты можешь уехать. Если там дела у тебя.

— Тебе, правда, это нужно, Шура?

— Ну, конечно, — рассердился Васнецов. — Ты знаешь, я познакомился с Аркадием. Он отличный человек. Он собирается писать о фабрике и для этого сюда приехал. Он в чем-то извинялся перед тобой. За какой-то портрет, я не понял. Он сегодня уезжает и напишет письмо. Мы с ним хорошо разговаривали.

„Какой ты глупый, — думала Нина. — Какой глупый и мой. И пак я его ужасно люблю“.

Васнецов уже начал рассказывать, не спрашивая согласия Нины. С бессознательным мужским эгоизмом он понимал, что она должна его выслушать. Но это-то и было правильным. Они вместе вышли со станции. — Знаешь, Нина, вот что я думаю, я, оказывается, зря волновался.

И стал говорить о том, что они останутся в Ломже, ряд препятствий преодолен, но не значит, что завтра все сразу гладко пойдет. Да и вообще увеличение выработки еще не закреплено окончательно и, хотя придет новый вал, но необходимо поправить и биржу, что он понял, как важна инициатива рабочих, и без этого техника мертва и бессильна, что сменно-встречный даст результаты, а Ложкин — удивительный работник, но главное, что все препятствия, противоречия, столкновения, те, что были сегодня и несомненно обнаружатся завтра, не опасны и их неизбежность лишь повышает стремление справиться с ними, и что в этом постоянном преодолении трудностей и заключается жизнь, а особенно жизнь нашей страны, и что это-то и хорошо, что все трудно дается, так как все действительно ценное никогда не дается легко и из одной облегченности и радости не рождается подлинное познание и творчество. И что, если заботиться о будущем, надо все вложить в настоящее и не смущаться, если даже покажется, что в какой-то момент не признают твоей искренности и работу твою не оценят.

Он все это рассказывал разом, перепрыгивая от мысли к мысли, присоединяя подробности из пережитой ночи и ловя возникающие по пути соображения. Он рассказывал в общем не то, что собирался, приступая к началу повествования, но то, что рождалось сейчас вместе с подступавшими к горлу словами. Он был убежден, что Нина воспринимает его, хотя Нина молчала и только изредка взглядывала сбоку. И Нина слушала его голос, следила за выражением его лица, и, действительно, понимала, хотя и брала все по-своему.

Она видела, что он нуждается в ней, что много раз забудет о ней совершенно и много раз к ней возвратится также открыто и просто.

— Вот как, Ниночка, тебе не интересно, — прервал он свои рассуждения.

— Тебе надо успеть хоть немного выспаться, — весело сказала она.

Фабрика в рассвете выглядела высокой и легкой. Струнный гул ее креп навстречу идущим. Синей тенью вдали над заливом выделялась колокольня старой лом-жинской церкви.

И опять, как тогда днем в кабинете, мышление Васнецова зарегистрировало эти два полярных объекта, не успев протянуть между ними связующих нитей.

„Что такое хотел я подумать? — вспоминал с трудом Васнецов. — Церковь, фабрика. О противопоставленности этих двух видов строений“.

Но ступив на крыльцо домика, он почувствовал, что упадет от усталости и только б добраться до дивана и кануть в сон с головой.

— Ничего, завтра подумаю, — сказал он, пропуская Нину вперед. — Завтра, завтра, — и закрыл дверь на задвижку.



ЦЕНТРАЛНА НАУКОВА
БИБЛИОТЕКА



141702

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY

NEW YORK